

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Юрий Бондарев
**БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Юрий Бондарев

Батальоны просят огня (сборник)

Издательство «Детская литература»

1953, 1957, 1959

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бондарев Ю. В.

Батальоны просят огня (сборник) / Ю. В. Бондарев —
Издательство «Детская литература», 1953, 1957,
1959 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-005244-6

В книгу вошли широко известные повести о Великой Отечественной войне: «Батальоны просят огня» – о героизме и мужестве бойцов и командиров, первыми переправившихся на правый берег Днепра и ведущих там с фашистами трудный, неравный бой, и «Последние залпы» – о боях накануне победы, в Карпатах, на границе с Чехословакией, где артиллерийская батарея получает приказ задержать немецкие танки, прорывающиеся из советского окружения. Также в книге помещен рассказ «Простите нас», ставящий перед читателем важные нравственные вопросы. Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-005244-6

© Бондарев Ю. В., 1953, 1957, 1959
© Издательство «Детская
литература», 1953, 1957, 1959

Содержание

«Бываю счастлив, когда работаю...»	7
Батальоны просят огня	11
Глава первая	11
Глава вторая	19
Глава третья	22
Глава четвертая	32
Глава пятая	39
Глава шестая	46
Глава седьмая	54
Глава восьмая	60
Глава девятая	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Юрий Васильевич Бондарев

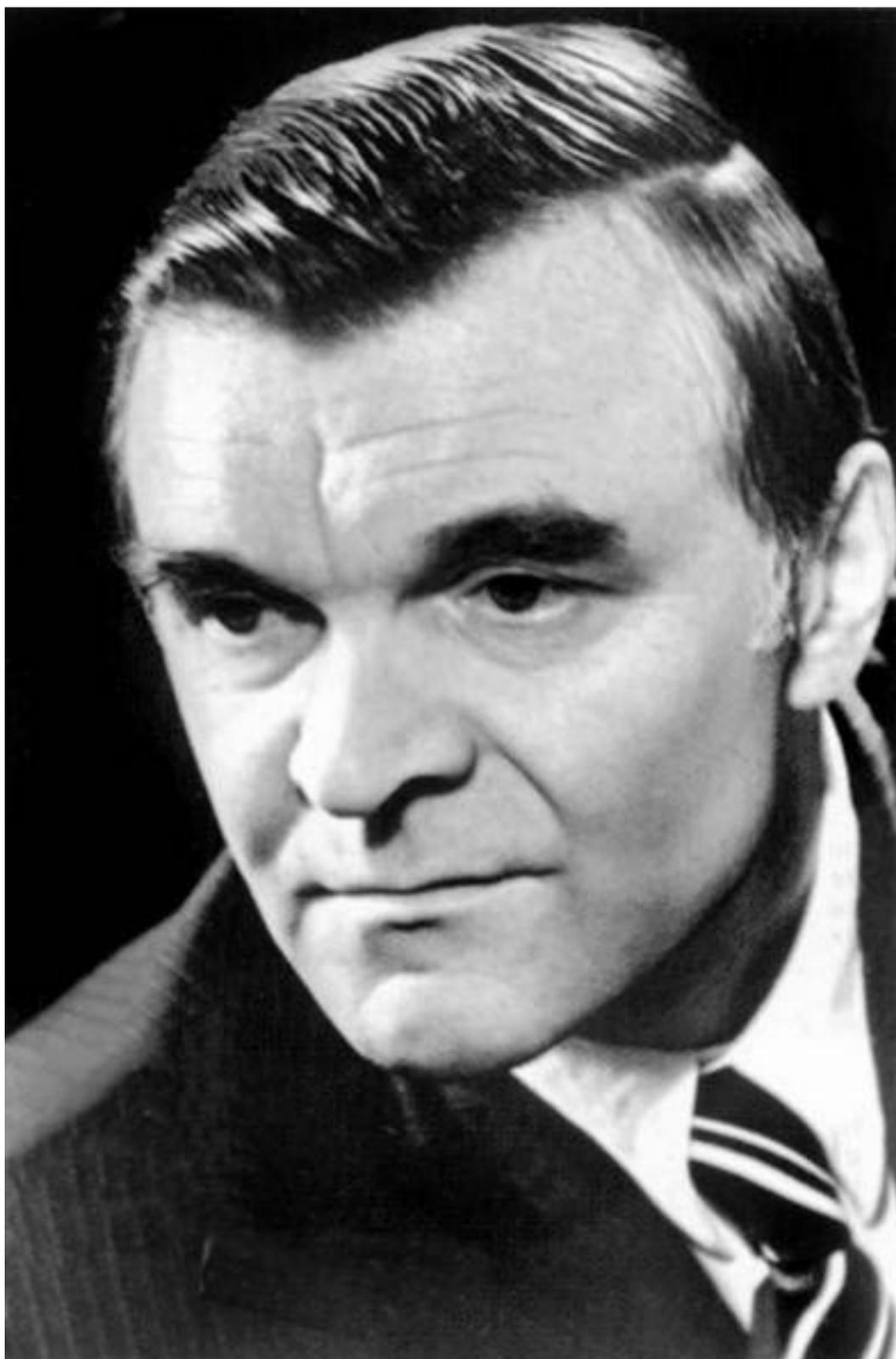
Батальоны просят огня

© Бондарев Ю. В., 1953, 1957, 1959

© Бондарев Ю. В., предисловие, 2014

© Иванов М. А., иллюстрации, 2014

© Оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2014



Ю. В. Бондарев

«Бываю счастлив, когда работаю...»

Оптимисты говорят, что изящная словесность есть форма второй жизни. Пессимисты утверждают, что литература – это трагический акт самопознания. Хотелось бы определить литературу как деятельность самопознания, самоутверждения и самонаказания. Самонаказание обретает силу в том случае, когда человек отходит от наивысшей нравственной категории, которая называется совестью.

Я больше всего ценю в людях доброту, человечность, культуру. Однако не внешнюю культуру изменчивой моды, а культуру духа, которая безоговорочно отрицает алчность, выгоду, расчет. Вообще закончить институт – это еще не значит быть культурным человеком. Можно закончить три института и быть человеком темным. Я имею в виду не культуру механических знаний, а внутреннее состояние, душевную наполненность, уважение к ближнему, что, кстати, приходит к человеку вместе с книгами, осмысливающими жизнь, ищущими смысл жизни.

Каждый человек вкладывает в понятие «смысл жизни» свое. Я считаю, что человек, родившись, должен исполнить свой, так сказать, запрограммированный самим рождением долг. Справедливые поступки человека, те, что согласуются с нравственными законами и совестью, и придают жизни наивысший смысл, объединяющий всех людей. На пути нелегкого познания правды долг как бы поднимает человека над самим собой.

Стало быть, один поступок или цепь поступков, совершенных долгом и совестью, выражают наивысший смысл человечности, который я бы определил как доброту. Нет ничего выше, чем это понятие доброты, если только вкладывать в него смысл социальный, этический, философский. Доброта – это и любовь, и гнев, и борьба, и движение к цели, и отношение к существующему миру, к женщине, к ребенку, к падающему снегу, к дождю, к блеску августовских звезд... Доброта – понятие сугубо нравственное, а только нравственное делает в конце концов человека человеком.

Однажды один архитектор спросил меня: «Почему людей так волнует мост? В чем здесь загадка?» Задумайтесь тоже и попытайтесь вспомнить изображение и ощущение моста, либо железнодорожного, либо моста в горах – и вы действительно почувствуете некое волнение. Признаться, я с детства люблю мосты, вокзалы, железную дорогу, люблю мазутный запах шпал и гравия, нагретого солнцем. И я подумал: на самом деле, почему все-таки меня волнует вот это архитектурное сооружение – мост. Может быть, потому, что мост – это завершение преодоления пространства. Нет, не преодоленного пространства, а преодоление пространства. Думаю, в каждом человеке живет ощущение, которое связано с движением, надеждой и ожиданием приближения к дальней или близкой цели. Построение мостов между людьми, между жизнью и правдой на пути к цели – не в этом ли смысл человеческого существования?

Как ответить на вопрос: «Счастливы ли вы?» Во-первых, сначала нужно определить, что же такое счастье. Состояние чувства? Умонастроение? Удовлетворение потребности? Миг самоуважения? Гармония личности и общества? Или это возвращение памятного какого-то, весеннего момента твоей жизни, когда ты был приготовлен к счастью?

Так или иначе, быть счастливым не значит быть материально-предметно богатым и заниматься ничегонеделанием. Понятие «счастье» и понятие «смысл жизни» нельзя отделить друг от друга, как следствие от причины, и наоборот. Счастье не подарок природы, не свойство ума, не ощущение вкуса, а миг постижения, минута открытия, момент озарения на длинной дороге последовательного приближения к цели.

Я бываю счастлив, когда работаю, хотя нельзя назвать счастьем состояние «сладкой каторги», то есть неудовлетворенности собой, сомнений, нескончаемости труда над текстом. Порой я вроде бы счастлив в момент сборов, когда мне нужно переменить место, куда-то

поехать, в этом участвует воображение, и испытываешь обещание нового, еще не изведенного тобой. Еще я благодарю судьбу, когда встречаюсь с человеком, способным убежденно спорить, не соглашаться с тобой и в то же время понимать тебя, хотя зачастую два человека одну и ту же истину видят по-разному.

Самые счастливые часы я испытывал в те годы, когда дети мои были маленькими. Да, поистине я был счастлив тогда, независимо от каких-то жизненных и бытовых проблем неустроенности.

«Счастливы ли вы?» – время от времени каждый должен спрашивать себя об этом. И все же после того, как самодовольный человек ответит: «Да, я счастлив абсолютно», он, несомненно, утратит нечто очень существенное. Он утратит энергию постижения, нерв желания и поиска, одержимость творца. Полное удовлетворение в общем-то всегда связано с утратой.

Стимулом творчества, я думаю, могут стать стремление к славе и честолюбивые устремления. Однако неужели все дело в успехе, в карьере, в удовлетворении тщеславия? Нет, тщеславие – категория временная, искусство бесконечно. Дело в том, что творчество серьезного писателя, как правило, бывает не параболой карьеры, не движением к успеху, а судьбой. И только тот из художников, кто шел в своей цели не в узде расчета, а трудной дорогой судьбы, достигал Олимповых высот, наивысшей точки истинного успеха и славы. И в то же время художник не испытывает полного удовлетворения, ибо постоянно стремится к предельному выражению правды, к совершенству формы – и нет конца каторжному труду.

Зачем Льву Толстому надо было переписывать каждую свою вещь по несколько раз? Зачем Эдуард Мане восемьдесят сеансов заставлял литографа Эмиля Белло позировать для картины «За кружкой пива»? Голова Демона переделывалась Врубелем сорок раз. «Мертвые души» были переписаны Гоголем восемь раз. Как известно, свой знаменитый роман «Обрыв» Гончаров писал двадцать лет. Что заставляло их работать? Честолюбие, тщеславие, стремление к успеху или жизнь-судьба? Успех не вечен – он проходит. Истинное произведение искусства нетленно.

Но наряду с выдающимися произведениями нас окружает много серых, бесцветных. В искусстве не может быть безграничных владений одних шедевров, как не может господствовать среди рода человеческого одна красота. Литература – это огромная река с широким течением, плесами, отмелями и зелеными островами, и ничего страшного для нее нет, коль несет она на своих водах плоты разной величины. Хочу этим сказать, что в истории, пожалуй, никогда не было так, чтобы работали в литературе одни таланты. Добавлю: время – самый добросовестный, справедливый судья.

Искусство имеет в жизни человека огромное значение. Взять, к примеру, поэзию. Я всегда испытываю чувство восхищенного удивления перед талантом, способным выразить свои мысли в прекрасной одежде поэзии.

Наверное, в человеческой жизни поэзия занимает позицию неунывающей мудрости. Поэзия – это осмысление чувств, философия сердца, она делает человека человечнее, добрее, моложе в ощущениях. Поэзия – поднебесная область, которая находится между государством прозы и безмерным пространством музыки. Если рискнуть и сказать, что музыка является как бы уловленными звуками Вселенной, расторгнутыми силами стихии, самой природы, божественных и демонических чувств, то поэзия – неиссякаемая надежда молодости.

Скажу пару слов и о живописи. В прозе «для доказательства» характеров, разного рода коллизий, того или иного положения надобно поле деятельности, пространство, романное время например. В живописи замысел, идея реализуется на чрезвычайно узком пространстве, где один холст или триптих выражает начало и конец идеи. Все сконцентрировано в живописи при помощи энергии красок и, конечно, композиции. И взятое художником жизненное явление возникает перед вашими глазами сразу, мгновенно отражаясь в душе и вызывая эмоциональные чувства. Разумеется, не только энергия красок создает настроение, сюжет, но и пла-

стическое расположение самих предметов. Знаю, что некоторые искусствоведы считают мотив и сюжет лишь поводом для буйства красок, для выражения цвета и света, – и с этим нельзя слепо спорить. Мне же в любимой мной живописи всегда необходима смысловая нагрузка, мысль, которую выявляют и сюжет и цвет.

Писателей часто спрашивают, какое из своих произведений они больше всего любят. Если бы я сказал, что наиболее любима повесть «Батальоны просят огня», которую писал в состоянии некой одержимости, то это была бы не вся правда. С тем же чувством кровной, родственной связи я отношусь, например, к романам «Тишина», «Берег», «Горячий снег», потому что в каждую вещь писатель вкладывает часть своей жизни, свою душу. Иначе нет смысла писать, иначе труд теряет всякую силу воздействия, коль скоро не передал другим и крупицу того, что мучило тебя. Ведь для того чтобы написать какую-либо серьезную сцену, надобна щедрая, безоглядная затрата нервных клеток, то есть необходимо побывать в том душевном и физическом состоянии, в котором живут, действуют, борются, страдают, любят твои герои, познать путь испытаний, а значит – истратить часть себя.

Что ж, писатель рождается и умирает несколько раз вместе со своими героями. Поэтому трудно «отсчитать», на какую вещь было затрачено больше сил, на какую меньше.

Если говорить о моем отношении к собственным повестям и романам, то оно напоминает любовь к детям своим. Я не могу отдать предпочтение одному за счет другого, несправедливо и рационально разделить свою любовь и сказать самому себе, что своих детей я люблю неодинаково.

Я сам был участником тех событий, о которых писал, например, в «Горячем снеге». И думаю, что в каждом художественном произведении, нравится это или не нравится читателю, всегда присутствует сам автор, его биография, его чувства и мысли. Однако в моей прозе, например, не нужно искать прототипов, бесполезно в главном герое узнавать автора и сравнивать их, как это в последнее время я замечаю в письмах, в вопросах читателей, когда речь идет о «Береге» или «Мгновениях». Никитин («Берег»), лирическое «я» и Бондарев для многих одно и то же лицо, а это совсем не так. Вместе с тем в каждом образе – и положительном, и отрицательном (назовем так условно, хотя я не очень люблю эти определения), разумеется, есть частица души и чувств самого автора. Ведь что такое роман? Это вымысел, правдиво вылепленный из реальной жизни. Если роман – философия разума, а поэзия – философия сердца, то литература – это закрепленное в нашем сознании чувство эпохи.

Читателю всегда интересно, как у писателя возникает идея будущего произведения. Вот что могу рассказать о рождении замысла романа «Берег». В 1966 году целый день мне пришлось сидеть на одном западном аэродроме. Было очень туманно, сыро, самолеты садились не вовремя, залы ожидания были переполнены. Я был один и от нечего делать сидел в баре, пил кофе, курил, наблюдал за пассажирами. Я не могу ответить, как возникает тень замысла, этот первый миг волнения, но мне кажется, что роман уже пишется задолго до того, как выведена первая строка на бумаге. И в тот момент, когда я увидел женщину, входящую с саквояжем в зал ожидания, вдруг почему-то мелькнула мысль, что сейчас должна произойти встреча некоего человека вот с этой женщиной после длительной разлуки, равной целой жизни, целой вечности.

Я подумал об этом и стал наблюдать за женщиной, а она села на диван, закурила, развернула журнал, начала медленно его листать, просматривать. Вот это был первый толчок, первое ощущение замысла...

В чем смысл названия этого романа? Берег – это поиски счастья, познания самого себя, поиск берега в самом себе.

Многие читатели считают настроение романа «Берег» мистическим. По-моему, определение «мистическое настроение» нельзя назвать точным. Тем не менее хочу сказать, что кроме сознания есть еще и область подсознания, есть рефлекс и чувства, не вполне объяснимые алгеброй и геометрией, логикой общей для всех математической формулы, и если бы было

иначе, человек предстал бы слишком примитивной машиной. Для того чтобы постичь литературного героя, открыть его вам не только посредством глагольного действия, но, если хотите, путем его самопознания и самонаказания не стоит легко отмахиваться от этой таинственной категории подсознания. Не нужно думать, что мы знаем о себе всё. Взгляните на свое лицо в зеркале – мы и о нем знаем слишком мало. Мы подчас не можем ясно определить собственный поступок, зачем мы его совершили, подчас не умеем объяснить пережитые чувства. Так вот, литература и есть исследование человеческого сознания и человеческого подсознания, приоткрывание дверей в глубину психики, жизненных страстей.

Я не знаю, высоконравственны мои герои или не высоконравственны. Слово «высоко» чересчур обязывает быть застегнутым, причесанным в образцовом салоне, а мне не хотелось их ни приукрашивать, ни унижать. Много лет назад я понял: в том случае, если писатель не уходит в края розовых снов и лазурных далей, а опирается на реальность, он наиболее нравствен. Опираясь на правду, писатель обязан видеть в человеке не только солнце, но и ночь. И в этом тоже – нравственность.

Нравственность – это не свод сухих назиданий; не кодекс сплошных догматических запретов, а совестливое отношение человека к жизни, к окружающему его миру. Разумеется, многое в понимании нравственности зависит от того, какие первые жизненные впечатления испытал человек в детстве. Кстати, все истоки добра лежат там.

Напоследок хочу добавить, что уже несколько лет я работаю над романом об интеллигенции. Хотя говорить об этой вещи пока еще рано.

А в последнее время продолжаю публиковать «Мгновения», жанр которых не имеет никакого отношения ни к воспоминаниям, ни к лирически мемуарам. Их форма позволяет, как мне кажется, наиболее лично, искренне высказать то, что требует краткого, а не романного выражения. Убежден, что в будущем мировая литература все чаще и чаще будет обращаться к жанру маленького романа.

Ю. В. Бондарев

Батальоны просят огня

Повесть



Глава первая



Бомбежка длилась минут сорок. В черном до зенита небе, неуклюже выстраиваясь, с тугим гулом уходили немецкие самолеты. Они шли низко над лесами на запад, в сторону мутно-красного шара солнца, которое пульсировало в клубящейся мгле.

Все горело, рвалось, трещало на путях, и там, где еще недавно стояла за пакгаузом¹ старая закопченная водокачка, теперь среди рельсов дымилась гора обугленных кирпичей; клочья горячего пепла опадали в нагретом воздухе.

Полковник Гуляев, морщась от звона в ушах, осторожно потер обожженную шею, потом вылез на край канавы и сипло крикнул:

– Жорка! А ну где ты там? Быстро ко мне!

Жорка Витьковский, шофер и адъютант Гуляева, гибкой независимой походкой вышел из пристанционного садика, грызя яблоко. Его мальчишеское наглое лицо было спокойно, немец-

¹ Пакгау́з – склад для краткосрочного хранения грузов при железнодорожных станциях, портах, таможах и т. п.

кий автомат небрежно перекинут через плечо, из широких голенищ в разные стороны торчали запасные пенальные магазины².



Он опустился возле Гуляева на корточки, с аппетитным треском разгрызая яблоко, весело улыбнулся пухлыми губами.

– Вот бродяги! – сказал он, взглянув в мутное небо, и добавил невинно: – Съешьте антоновку, товарищ полковник, не пообедали ведь...

Это легкомысленное спокойствие мальчишки, вид пылающих вагонов, боль в обожженной шее и это яблоко в руке Жорки внезапно вызвали в Гуляеве злое раздражение.

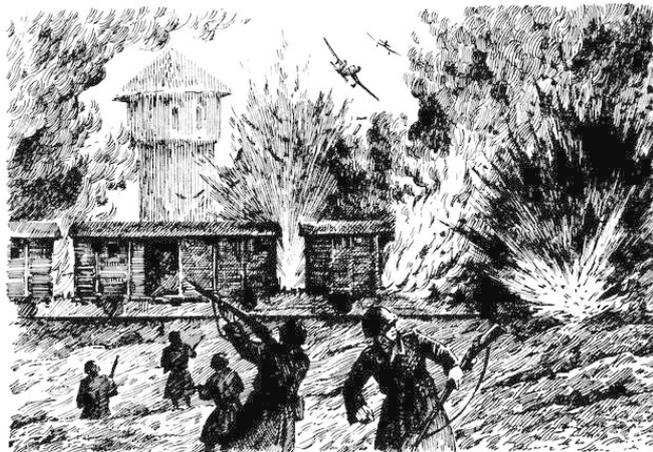
– Воспользовался уже? Трофеев набрал? – Полковник оттолкнул протянутую руку адъютанта и хмуро встал, отряхивая пепел с погон. – А ну разыщи коменданта станции! Где он, черт бы его!..

Жорка вздохнул и, придерживая автомат, не спеша двинулся вдоль станционного забора.

– Бегом! – крикнул полковник.

То, что горело сейчас на этой приднепровской станции, лопалось, взрывалось и малиновыми молниями вылетало из вагонов, и то, что было покрыто на платформах тлеющими чехлами, – все это значилось словно бы собственностью Гуляева, все это прибыло в армию и должно было поступить в дивизию, в его полк, и поддерживать в готовящемся прорыве. Все гibly, пропадало в огне, обугливалось, стреляло без цели после более получасовой бомбежки.

² *Пенальный магазин* – здесь: плоский коробчатый патронный магазин, приспособление для размещения патронов в многозарядном оружии.



«Бестолочь, глупцы! – гневно думал Гуляев о коменданте станции и начальнике тыла дивизии, грузно шагая по битому стеклу к вокзалу. – Под суд сукиных сынов мало! Под суд! Обоих!»

На станции уже стали появляться люди: навстречу бежали солдаты с потными серыми лицами, танкисты в запорошенных пылью шлемах, в грязных комбинезонах. Все подавленно озирали дымный горизонт, и щуплый низенький танкист-лейтенант, ненужно хватаясь за кобуру, метался меж ними по платформе, орал срывающимся голосом:

– Тащи брёвна! К танкам! К танкам!..

И, наткнувшись растерянным взглядом на Гуляева, только покривился тонким ртом.

Впереди, метрах в пятидесяти от перрона, под прикрытием каменных стен чудом уцелевшего вокзала, стояла группа офицеров, доносились приглушенные голоса. В середине этой толпы на голову выделялся высоким ростом командир дивизии Иверзев, молодой румяный полковник, в распахнутом стального цвета плаще, с новыми полевыми погонями. Одна щека его была краснее другой, синие глаза источали холодное презрение и злость.

– Вы погубили всё! Па-адлец! Вы понимаете, что наделали? В-вы!.. Пон-нимаете?..

Он коротко, неловко поднял руку, и стоявший возле человек, как в ожидании удара, невольно вскинул кверху голову – полковник Гуляев увидел белое, дрожавшее дряблыми складками лицо пожилого майора, начальника тыла дивизии, его опухшие от бессонной ночи веки, седые взлохмаченные волосы. Бросились в глаза неопрятный, мешковатый китель, висевший на округлых плечах, нечистый подворотничок, грязь, прилипшая к помятому майорскому погону, – запасник, по-видимому, работавший до войны хозяйственником, «папаша и дачник»... Втянув голову в плечи, начальник тыла дивизии тупо смотрел Иверзеву в грудь.

– Почему не разгрузили эшелон? Вы понимаете, что вы наделали? Чем дивизия будет стрелять по немцам? Почему не разгрузили?..

– Товарищ полковник... Я не успел...

– Ма-алчите! Немцы успели!

Иверзев шагнул к майору, и тот снова вскинул мягкий подбородок, уголки губ его мелко задергались, в бессилии он плакал; офицеры, стоявшие рядом, отводили глаза.

В ближних вагонах рвались снаряды; один, видимо бронебойный, жестко фырча, врезался в каменную боковую стену вокзала. Посыпалась штукатурка, кусками полетела к ногам офицеров. Но никто не двинулся с места, лишь поглядели на Иверзева: плотный румянец залил его другую щеку.

– Под суд! – низким голосом выговорил Иверзев. – Я отдам вас под суд! Полковник Гуляев, подойдите ко мне!

Гуляев, оправляя китель, подошел с готовностью; но этот несдержанный гнев командира дивизии, это усталое, измученное лицо начальника тыла сейчас уже неприятно было видеть ему. Он недовольно нахмурился, косясь на пылающие вагоны, проговорил глухим голосом:

– Пока мы не потеряли все, товарищ полковник, необходимо расцепить и рассредоточить вагоны. Где же вы были, любезный? – невольно поддаваясь презрительному тону Иверзева, обратился Гуляев к начальнику тыла дивизии, оглядывая его с тем болезненно-согратательным выражением, с каким глядят на мучимое животное.

Майор, безучастно опустив голову, молчал; седые слипшиеся волосы его топорщились на висках неопрятными косичками.

– Действуйте! Дей-ствуй-те! В-вы, растяпа тыла! – крикнул Иверзев с бешенством. – Марш! Товарищи офицеры, всем за работу! Полковник Гуляев, разгрузка боеприпасов – под вашу ответственность!

– Слушаюсь, – ответил Гуляев.

Иверзев понимал, что это глуховатое «слушаюсь» еще ничего не решает, и, едва сдерживая себя, перевел внимание на коменданта станции – сухощавого, узкоплечего подполковника, замкнуто курившего у ограды вокзала, – и добавил тише:

– А вы, товарищ подполковник, ответите перед командующим армией за всё сразу!

Подполковник не ответил, и, не ожидая ответа, Иверзев повернулся – офицеры расступились перед ним – и крупными шагами пошел к «виллису» в сопровождении молоденького, тоже как бы рассерженного адъютанта, щеголевато затянутого в новые ремни.

«Уедет в дивизию», – подумал Гуляев без осуждения, но с некоторой неприязнью, потому что по опыту своей долгой службы в армии хорошо знал, что в любых обстоятельствах высшее начальство вольно возлагать ответственность на подчиненных офицеров. Он знал это и по самому себе и поэтому не осуждал Иверзева. Неприязнь же объяснялась главным образом тем, что Иверзев назначил ответственным именно его, безотказного работягу фронта, как он иногда называл себя, а не кого другого.

– Товарищи офицеры, прошу ко мне!

Гуляев лишь сейчас близко увидел коменданта станции; меловая бледность его лица, вздрагивающие худые пальцы, державшие сигарету, позволяли догадаться, *что* этот человек сейчас пережил. «Отдадут под суд. И за дело», – подумал Гуляев и сухо кивнул подполковнику, встретив его ищущий взгляд.

– Ну, будем действовать, комендант!

Когда несколько минут спустя комендант станции и Гуляев отдали распоряжение офицерам и к горящим составам, зашипев паром, подкатил маневровый паровозик с перепуганно высунувшимся машинистом, а тяжелые танки стали, глухо ревя, сползать с тлеющих платформ, к полковнику, кашляя, задыхаясь, моргая слезящимися глазами, подбежал начальник тыла дивизии, затряс седой головой.

– Боеприпасы одним паровозом мы не спасем! Погубим паровоз, людей, товарищ полковник!..

– Эх, братец вы мой, – досадливо сказал Гуляев. – Разве вам в армии служить? Где ж вы фуражку-то потеряли?

Майор скорбно улыбнулся.

– Я постараюсь... Я все, что смогу... – заговорил майор умоляюще. – Комендант сообщил: прибыл эшелон. Из Зайцева. Стоит за семафором. Я сейчас за паровозом. Разрешите?

– Мигом! – скомандовал Гуляев. – Одна нога здесь... И, ради бога, не козыряйте. Как корягу, руку подносите, черт бы драл! И без фуражки!..

Майор сконфуженно попятился, рысцой побежал к перрону, неуклюже колыхая плечами, подпрыгивая, наталкиваясь на танкистов; они раздраженно матерились. Его мешковатый

китель, взлохмаченная голова мелькнули в последний раз в конце перрона, в сизо-оранжевом дыму близ крайних вагонов, где с треском, с визгом осколков лопались снаряды.

– Жорка! А ну за майором! Помоги! А то носит его... Видишь? За смертью гоняется! – сказал Гуляев.

Жорка ухмыльнулся, ответил небрежно:

– Есть, – и последовал за майором своей цепкой, скользящей походкой.

Подполковник Гуляев ходил около вокзала, глядел на пылающие вагоны со вздыбленными крышами, сознавая, что все здесь охваченное огнем могло спасти только чудо. Он думал о том, что этот пожар, уничтожающий боеприпасы и снаряжение не только для истощенной в боях дивизии, но и для армии, оголял его полк, батальоны которого подтянулись к Днепру в течение прошлой ночи. И как бы умны ни были сейчас распоряжения Гуляева, как бы ни кричал он, ни взвинчивал людей, всё это теперь не спасало положения, не решало дела.

Он видел, как бегал в дым и вновь выныривал в просветах пожара маневровый паровозик, свистя, носился по путям с прилипшим к буферу³ сцепщиком, разъединял искореженные осколками вагоны, оглушая лязгом железа, толкал их в тупики. Танки обрушивались через края платформы на бревна, скатывались на землю; недовольно ревя, как обожженные звери, уползали к лесу за станционным зданием.

Мимо вокзала пробежал высокий танкист-подполковник, лицо его было озлоблено, все в темных пятнах гари, он не заметил Гуляева.

– Подполковник! – зычно окликнул Гуляев, чуть подбирая полнеющий живот, как делал это всегда, готовясь отдать приказание.

– Чего вам? – Танкист остановился. – Я вам не подчинен!..

– Сколько танков вышло из строя?

– Не подсчитано!

– Тогда вот что! Освободятся люди – пошлите их на расцепку вагонов! Сейчас придет еще паровоз...

– Я людьми швыряться не намерен, товарищ полковник! Как воевать без людей буду?

– А как же будет воевать дивизия? А? Вся дивизия? – спросил Гуляев, чувствуя, что снова сбивается на тон Иверзева, и раздражаясь на себя за это.

Воспаленные веки танкиста упрямо сузились.

– Не могу! Я отвечаю за своих людей, полковник!

В ближайшем вагоне с грохотом взорвалось несколько снарядов, взметнулась крыша, дохнуло обжигающим жаром. Лицам стало горячо. На мгновение оба отвернулись, их заволкло дымом; танкист закашлялся.

– Товарищ полковник, разрешите обратиться? – послышался в эту минуту за спиной Гуляева насмешливый голос.

– По-до-жди-те! – холодно, не оборачиваясь, проговорил Гуляев и добавил жестко: – Я потребую... потребую выполнения, танкист!

– Товарищ полковник, разрешите обратиться?

– Кто еще тут? – Гуляев, морщась, круто повернулся и удивленно воскликнул: – Капитан Ермаков? Борис? Откуда тебя черти принесли?

– Здравия желаю, товарищ полковник.

Среднего роста капитан в летней выгоревшей гимнастерке с темными следами от портупей стоял возле; тень от козырька падала на половину смуглого лица, карие дерзкие глаза, белые зубы блестели в обрадованной улыбке.

– Ну, не узнаете, товарищ полковник! – оживленно повторял он. – Что, не верите? Доложить, что ли?

³ *Буфер* – приспособление для смягчения удара при соприкосновении вагонов, локомотивов и др.

– Да откуда тебя черти принесли? – вновь проговорил Гуляев, сначала нахмурился, потом засмеялся, грубовато стиснул капитана в объятиях и сейчас же отстранил его, косясь через плечо.

– Идите, – буркнул он танкисту. – Идите.

– Дайте жрать, полковник! Толком четыре дня не ел! – сказал капитан, улыбаясь. – И сутки без дымового довольствия!..

– Да откуда ты?.. Докладывай!

– Из госпиталя. Ждали в пути, когда кончится у вас тут. Потом появляется Жорка с майором, ну и... прикатили на паровозе.

– Легкомыслие? Шутишь всё? – пробормотал Гуляев, всматриваясь в заштопанный рукав капитанской гимнастерки, и густо побагровел. – Не писал из госпиталя, хинная ты душа! А? Молчал, ухарь-купец!

– Я хочу не есть, а жрать! – ответил капитан, смеясь. – Дайте хоть сухарь! Водки не прошу.

– Жорка! – крикнул полковник. – Проведи капитана Ермакова к машине!

Жорка, до этого скромно стоявший в стороне, просветлел лицом, заговорщицки подмигнул капитану голубым невинным глазом:

– Тут в лесу. Недалеко.

Все, что можно было сделать в создавшихся обстоятельствах, было сделано. Устало догнали загнанные в тупики вагоны; с последним, как бы неохотным треском запоздало рвались снаряды. Пожар утих. И только теперь стало видно, что стоял теплый, погожий день приподнявшегося бабьего лета. Чистое сияющее небо со стеклянно-высокой синевой развернулось над лесной станцией. И лишь на западе неуловимо светились в бездонной его глубине беззвучные зенитные разрывы.

Порыжевшие, тронутые осенью приднепровские леса, окружавшие черное пепелище путей, обозначились четко, как в бинокле.

Полковник Гуляев, потный, разомлевший, не без наслаждения скинув горячие сапоги с усталых ног, подставив ноги солнцу и расстегнув китель на волосатой пухлой груди, лежал в станционном садике под облетевшей яблоней. Здесь всё по-осеннему поблекло, поредело, везде неяркий блеск солнца, везде хрупкая прозрачная тишина, вокруг легкий шорох палых листьев, чуть-чуть тянуло свежим воздухом с севера.

Капитан Ермаков лежал рядом, тоже без сапог, без ремня и фуражки. Полковник, хмурясь, сбоку рассматривал его исхудалое, побледневшее лицо, прямые брови; черные волосы упали на висок, шевелились от ветра.

– Та-ак, – проговорил Гуляев. – Никак, раньше времени прибежал? Что, не терпелось, терпежу не было?

Борис вертел опавший яблоневый лист, задумчиво шурился на него.

– Променять госпитальную койку вот на это... стоило, честное слово, – ответил он, сдунул лист с ладони, проговорил полусерьезно: – Вы что-то, полковник, растолстели. В обороне стоите?..

– Ты мне не вкручивай, – недовольно перебил Гуляев. – Я спрашиваю: почему прибежал?

Борис потянулся к яблоне, сорвал голую веточку, внимательно осмотрел ее, сказал:

– Вот, оторвал эту ветку – и она погибла. Верно? Ладно, оставим лирику. Как там моя батарея, жива? – И, слегка усмехнувшись, повторил: – Жива?

– Твоя батарея ночью форсировала Днепр. Ясно? – Гуляев повозился, поерзал животом по желтой траве, по сухим листьям, спросил: – Какие еще вопросы?

– Кто командует батареей?

– Кондратьев.

– Это хорошо.

– Что хорошо?

– Кондратьев.

– Вот что, – грубовато и решительно проговорил Гуляев, – хочу предупредить тебя, и без шуток, дорогой мой. Будешь грудью по-дурацки, по-ослиному пули ловить, храбрость показывать – к чертовой бабушке спишу в запасной полк! И баста! Спишу – и баста! Убьют ведь дурака! Что?

– Ясно, – сказал капитан. – Все ясно.

Обветренное, крупное, заметное покатым морщинистым лбом лицо полковника медленно отпускало выражение недовольства, нечто похожее на улыбку слабо тронуло его губы, и он проговорил с грустным весельем:

– Оторванная ветка! Ска-жи-те! Философ! Пороть тебя некому!

Лежа на спине, Ермаков по-прежнему задумчиво глядел в холодноватую синеву неба, и Гуляев подумал, что этому молодому здоровому офицеру мало дела до его слов, до откровенного беспокойства, не предусмотренного никаким уставом, – они знали друг друга со Сталинграда. Был полковник одинок, вдов, бездетен, и он точно бы видел в Ермакове свою молодость и многое прощал ему, как это иногда бывает у немало поживших на свете и не совсем счастливых одиноких людей.

Долго лежали молча. Пустой, перепутанный паутиной садик был насквозь пронизан золотистым солнцем. В теплом воздухе планировали листья, бесшумно стучаясь о ветви, цепляясь за паутину на яблонях. В тишину долетало отдаленное гудение танков из леса, тонкое шипение маневрового паровозика на путях, отзвуки жизни.

Сухой лист упал полковнику на плечо. Он медлительно смял его в кулаке, скосил глаза на Ермакова.

– Прорывать оборону будем. Крепкий орешек на правом берегу. Что замолчал?

– Так, думаю. И сам не знаю о чем, – сказал Ермаков.

Со стороны вокзала, приближаясь, слышались голоса, показавшиеся странными здесь, – женские голоса, звучные и будто стеклянные в тихом воздухе полуоблетевшего сада. Полковник Гуляев, неловко повернув обожженную шею, крикнул от боли, недоуменно оглядываясь, спросил:

– Это что же такое?

По тропе, левее вокзала, через сад двигались две женщины, несли огромный сундук, переплетенный веревками. Одна, молодая, босоногая, в выцветшей блузке, небрежно заправленной в юбку, шла изогнувшись, напрягая крепкие икры, другая, постарше, была в телогрейке, в сапогах, смуглое лицо измождено, волосы растрепались, и солнце, бившее сзади, просвечивало их.

– Далеко ли, красавицы? – крикнул Гуляев и, кряхтя, сел, потер колени.

Женщины опустили сундук; молодая выпрямилась, нестеснительно оглядела грузноватую фигуру Гуляева, игриво-дерзким взглядом скользнула по лицу Ермакова и вдруг фыркнула, засмеялась.

– Помогли бы, товарищ полковник, вещи у нас больно тяжелые! Seriously...

Ермаков спросил с явным интересом:

– А вы что же, недалеко живете? Здешние?

Молодая заулыбалась, выставила грудь, ловкими пальцами поправила косынку, а та, что постарше, в телогрейке, потупилась, смугло покраснела. Молодая бойко сказала:

– Мы рядом тут. В лесу село... Одни мы! Просто одни. Помогли бы?..

– Пойдем? – полувопросительно сказал Ермаков. – А, товарищ полковник?

– Да ты что? – свирепым шепотом остановил его Гуляев и протестующе замахал крупной рукой. – Не в форме мы, красавицы, босиком, видите? Наше дело военное, бабоньки, некогда нам! Идите, идите себе!

Немного спустя, когда женщины скрылись в конце сада, полковник, наморщив озабоченно лоб, заторопился, стал натягивать шерстяные носки, говоря:

– Кончено. Поехали. Хватит.

Ермаков шутливо сказал ему:

– А может быть, пойдём? Надо бы помочь.

– Да ты что? – Гуляев, багровея, ожесточенно вбил ногу в узкий сапог, резко одернул на животе китель. – Нечего нам тут. Залезались. Дел по горло!

Косматое нежаркое солнце садилось в леса.

Глава вторая

Ночь застала их в дороге, холодная, звездная октябрьская ночь. Шумом, движением, людскими голосами была наполнена лесная темнота. Жорка изредка включал фары, и в белом коридоре то мелькала оскаленная, скошенная на свет морда лошади, то заляпанный грязью борт грузовика, то кухня, разбрызгивающая по дороге раскаленные угли, то щит орудия и нахохленные спины ездовых, то неспящие лица солдат. Всё это двигалось, шло, ехало, копошилось, скакало во тьме туда, где за лесами тек Днепр.

– Гаси! Гаси фары, дьявол! – метнулся от подпрыгивающей впереди повозки крик, мимо скользнуло белое лицо ездового, и по борту «виллиса» жестяно хлестнул кнут.

– Надо бы через спину тебя протянуть, – ворчливо пробормотал полковник. – А ну гаси. И перестань жевать, ну?

Хмуρο вобрав голову в плечи, Гуляев смотрел сквозь ветровое стекло на дорогу; Жорка лениво грыз сухарь, одной рукой держал руль, изредка поглядывая вверх, где текло мерцающее холодное небо.

– Вот бродяга! – сказал он и спрятал сухарь в карман. – Гляньте-ка, товарищ полковник, опять фонари развесили.

В небе распушался сумрачный желтый свет: четыре осветительные бомбы, роняя искры, высоко висели над лесом среди звезд. Они медленно летели, косо и тихо опускаясь. Вверху выступили из темноты, четко прорезались оголенные вершины деревьев. Лес сразу ожил, черные тени кустов поползли, задвигались на дороге, мешаясь с тенями людей, машин, повозок; впереди ожесточенно взревели танки, кто-то зычно подал команду из глубины колонны:

– Сто-ой!

Жорка вопросительно поднял одну бровь; полковник проговорил в воротник:

– Объезжай.

«Виллис» обогнул колонну машин, тесно сгрудившиеся повозки, орудия, понесся впри-тирку к лесу, ветви захлестали, забили по бортам, упруго подбрасывало на корневищах. Деревья расступились, стало по-дневному светло. Над головой, разгораясь, плыли «фонари». Впереди с громом рванулось двойное пламя, и в лесу ахнуло, загремело, как в пустых коридорах.

– Куда? Куда под бомбы прешь? Не видишь? – закричал кто-то отчаянным голосом, и человеческая фигура метнулась перед радиатором. – Ку-уда?..

– Стоп! – скомандовал Гуляев, вынося вон из машины ногу.

«Виллис» с ходу затормозил, и Ермаков ударился бы о спинку переднего сиденья, если бы не спружинил руками. Полковник вылез, пошел вперед к сумеречно освещенной «фонарями» колонне танков; моторы работали, стреляя резкими выхлопами, танки продвигались толчками к матово отблескивающей воде. Там, в проходе, образованном съехавшими к обочине повозками и кухнями, они с гулом вползали на качающийся понтонный мост.

– Днепр? – спросил Ермаков, наклоняясь к уху Жорки.

– Не-е, рукав... Днепр дальше, – ответил Жорка. – Почуяли, бродяги, все время тут долбят... Во кинул, бродяга! Слышите – поросята завизжали?

Заглушая гул танковых моторов, крики у переправы, ржание лошадей, новые пронзительные, рвущие воздух звуки возникли в небе. Небо обрушилось; ослепляя, брызнули шипящие кометы, полыхнули огнем в глаза; «виллис» с силой толкнуло назад. Ермаков, испытывая холодно-щекочущее чувство опасности, притупившееся в госпитале, смотрел на разрывы, затем увидел в хаосе рвущихся вспышек на миг повернутое к нему лицо Жорки, сквозь грохот прорвался его голос:

– Ложи-ись, товарищ капитан! Пикирует!

Ермаков, возбужденный, со сжавшимся сердцем, – отвык, отвык! – делая размеренные движения, вылез из машины и, чувствуя глупость того, что делает, заставил себя не лечь, а стоять, наблюдая за дорогой.

В ту же минуту металлический нарастающий рев мотора начал давить на уши. С белесого неба стремительно падала на переправу тяжелая тень, оскаливаясь пулеметными вспышками. И он поспешно лег возле машины. Красные короткие молнии, поднимая ветер, отвесно неслись вдоль колонны. Упала, забилась в оглоблях, заржала лошадь. «О-ох, о-ох!» – послышалось из леса; что-то зашлепало по мокрому песку вокруг головы Ермакова, и он непроизвольно нащупал и отбросил горячую крупнокалиберную гильзу.

В глубине леса учащенно и запоздало застучали скорострельные зенитные орудия. Трассы⁴ вслепую рассыпались в небе, все мимо, мимо тяжелого низкого силуэта самолета. Гул его удалялся. Зенитки смолкли. Угасающие «фонари» опустились к самой воде. И было слышно, как на другой стороне рукава слитно рокотали танки: они переправились во время бомбежки. Ермаков поднялся с земли, разозленный, подавленный тем, что чувство страха оказалось сильнее его, отряхнул сырой, налипший на колени песок, подумал: «Разнежился. Конiec. Прежняя жизнь начинается».

– Из санроты! Где санрота? Санитары! – донесся крик из колонны, и она зашевелилась, задвигались фигуры меж повозок и машин.

– Жорка! – раздался голос Гуляева. – Все целы?

– Целы, целы. Поехали, – ответил Ермаков преувеличенно спокойно.

«Виллис» снова понесся по дороге к Днепру.

Ермаков смотрел на мелькающие стволы берез, на темную нескончаемую колонну; сырой ветер обливал холодом потную от возбуждения шею, еще не прошло раздражение на самого себя после только что пережитого страха; он не любил себя такого.

Так же, как большинство на войне, Ермаков боялся случайной смерти: смерть в нескольких километрах до фронта всегда казалась ему такой же унизительно глупой, как гибель человека на передовой, вылезшего с расстегнутым ремнем из окопа по своей нужде.

– Началось наше, – сказал Жорка и осторожно захрустел сухарем, включил на мгновение фары.

Вспыхнув, они скользнули по борту «студебеккера», осветили масляно заблестевшую пехотную кухню в кустах, толпу солдат с котелками; потом на перекрестке дорог выхватили на стволе сосны деревянную табличку-указатель: «Хозяйство Гуляева». Эта стрела показывала влево, другая прямо – «Днепр». Машины, повозки и люди текли туда через лес, где неясный зеленый свет мигал и гас над вершинами деревьев.

Полковник Гуляев сказал:

– Давай в хозяйство.

– Жорка, остановись! – громко приказал Ермаков.

– Что такое?

«Виллис» остановился; встречный ветер упал; был слышен буксующий вой «студебеккера», слитный скрип колес, фыркание лошадей, голоса. Ермаков молча спрыгнул на дорогу, потянул из машины планшетку.

– В батарею? – устало спросил Гуляев. – Стало быть, в батарею? Так вот что. Там тебе делать нечего. Н-да! Кондратьев там. Артиллерии в дивизии много. Найдем место. Не торопись. Была бы шея, а хомут...

– Может, в адъютанты возьмете, полковник? – усмехнулся Ермаков. – Или в комендантский взвод?

⁴ Трасса – светящийся след, оставляемый в воздухе трассирующей пулей или снарядом.

– А! Некогда мне с тобой антимонии⁵ разводить! Некогда! – Гуляев вдруг засопел, со злым раздражением толкнул Жорку локтем. – Поехали! Спишь? Гони, гони! Что смотришь? Ермакова обдало теплым запахом бензина, махнуло по лицу воздухом, темный силуэт «виллиса» запрыгал в глубине лесной дороги, исчез.

⁵ *Антимонии* – пустые, ненужные разговоры, болтовня (*разг.*).

Глава третья

Серии ракет всплывали на правой стороне Днепра; черная вода каскадом загоралась под обрывом дальнего берега. Свет ракет опадал клочьями мертвого огня, и тогда отчетливо стучали крупнокалиберные пулеметы. Трассирующие пули веером летели через все пространство реки, вонзались в мокрый песок острова, тюкали в стволы сосен, вспыхивая синими огоньками. Это были разрывные пули. Срезанные ветви сыпались на головы солдат, на повозки, на котлы кухонь.

По несколько раз подряд на правой стороне скрипуче «играли» шестиствольные минометы, низкое небо расцвечивалось огненными хвостами мин. Они рвались с тяжким звоном, засыпая мелкие, зыбкие песчаные окопчики. Немцы били по всему острову – на звук голосов, на случайную вспышку зажигалки, на шум грузовиков – остров кишел людьми.

Ночью стало холодно, ветрено, сыро. Сосны по-осеннему тягуче гудели, от воды вместе с ветром приносило тошнотворный запах разлагающихся трупов – их прибивало течением.

Но там, возле воды, были и живые люди – постукивал топор, доносились голоса, кто-то ругался грубо, сиплый тенор, не сдерживая душу, костерил кого-то:

– Ты чего сигарки жуешь, а? Ты сколько раз собрался умирать, растяпа! А ну бросай!..

И было видно, как при взлете ракет темные силуэты саперов падали в воду, на песок; прекращался стук топора. Изредка тот же сиплый тенор, поминая бога и мать, звал санитаря, и кого-то уносили на плащ-палатке, спотыкаясь в воронках.

А метрах в ста пятидесяти от берега, в воронке от бомбы, прикрытый брезентом, тлел костерок из снарядных ящиков. Было здесь дымно, пахло паром сырых шинелей.

Протянув разомлевшие ноги к жидкому огоньку, вокруг сидело и лежало несколько солдат-артиллеристов. Они молчали, дремотно поглядывали на наводчика Елютина, который, спокойно вытянувшись на снарядных ящиках, тихонько копался перочинным ножом в разобранных ручных часах.

Сержант Кравчук, крепколицый парень лет двадцати пяти, помял над огнем высохшую портянку и со строгим видом, держа ногу на весу, начал обматывать ее. Потом замер, глянул назад.

– Кто это там на голову сел?.. – сурово поинтересовался он. – Глаза где?

– Лузанчиков вроде, – сказал телефонист Грачев, разлепляя глаза, и сонно подул в трубку. – Чего там у вас? Танки гудят?..

Кравчук шевельнул плечами, медленно повернулся. Подносчик снарядов Лузанчиков, сжавшись худенькой фигуркой, привалился к его спине, спал, охватив колени, тонкие до жалости руки подрагивали в ознобе; по его детскому, заострившемуся лицу беспокойно бродили тени – отблески мутного сна. Кравчук угрюмо сказал:

– Беда с мальцами. Просто детские ясли.

– А? – спросил во сне Лузанчиков еле слышным голосом.

Кравчук, подумав, неуверенно приподнялся, потянул из-под себя плащ-палатку и с довольным видом накиннул ее на плечи Лузанчикова. Тот, не открывая глаз, дрожа веками, закутался в нее, беспомощно подобрал ноги калачиком.

– Н-да-а, чуток не захлебнулся, – сказал Кравчук, наматывая портянку. – Плавать не умеет. Намучаешься с ним.

Замкóвый⁶ Деревяно, весь черный, как жук, ехидно крикнул, сделал вспоминающее лицо, и тотчас солдаты повернули к нему головы.

⁶ Замкóвый – тот, кто заряжает артиллерийское орудие; заряжающий.

– На Волге до войны катер ходил осво dovский⁷. И в рупор без конца орали: «Граждане купающиеся, по причине общего утонутья просьба не заплывать на середину реки!» Ту точки тебе, Кравчук, в рупор не заорут. Можно быть вумным как вутка, а плавать как вутюг! Ты сам за бревно двумя руками держался!..

– Хватит молотить! – оборвал его Кравчук. – Смехи всё!

Деревянко вздохнул, сожалеюще заглянул в котелок.

– Какой смех! Второй раз на голодный желудок будем переправляться, не до смеху! Где старшина? Я б его пустым котелком разочков пять по заливку съездил. Аж звон пошел бы. Как на передовую – его нет!

– Ладно, разберемся, – ответил Кравчук, вставая.

В это время Елютин поднял глаза, прислушался и сказал:

– Летят.

Где-то вверху, над брезентом, вырос давящий шорох – шу-шу-шшу-у! – перерастая в тяжелый рев, и близкие разрывы сотрясли землю, подкинуло костер, ящики, брезент взметнулся над краем воронки – и сюда, к костру, горячо дохнула, ворвалась ночь. Кравчук опытно пригнулся. Елютин быстро ладонью накрыл часы, словно птицу поймал с молниеносной ловкостью. Деревянко заинтересованно крутил в руках пустой котелок. Откинув плащ-палатку, Лузанчиков испуганно вскочил, поводя круглыми, непонимающими глазами.

– Бомбят? – растерянно спросил он. – Да?

– Дальнобойная дура щупает, – ответил Кравчук, рванув брезент на воронку. – По квадратам бьет.

В наступившей тишине с тонким свистом над брезентом запоздало пролетел обессиленный осколок, тяжело и мокро шлепнулся в песок.

Тут, шурша ботинками по песку, в воронку скатился огромный солдат, в короткой не по росту шинели, его широкое лицо и незажженная самокрутка в зубах озарились отблесками костра. Он потер озябшие руки, весело, бедово глянул на Елютина, на нахмуренного Кравчука, присел на корточки к огню.

– Греемся, братцы славяне? Дай-ка за пазуху трошки угольков. Тебя, Кравчук, к комбату. И от Шурочки привет!

На щеках Кравчука зацвел смуглый румянец.

– Ты чего развеселился? – с ленивой суровостью спросил он. – Почему с поста ушел, Бобков, что, в деревне на печке?

– Если б на печке с бабешкой, кто бы отказался?

Бобков выхватил уголек из огня, перекатывая его на ладони, прикурил, сосредоточенно почмокал губами.

– Старший лейтенант говорит: иди, мол, погрейся, я все равно, мол, дежурю. На снарядах с Шурочкой сидят. Мечтают вроде.

Кравчук сердито откинул брезент и выкарабкался по скату воронки наружу, в холодную тьму.

Ветер шумел, топтался в кронах сосен. Дуло студено с Днепра. Там по-прежнему, распарывая потемки, взмывали ракеты, освещая черную воду и черное небо.

Поёживаясь от холода (у костра разморило), Кравчук поглядел на красные стаи пуль, которые, обгоняя друг друга, неслись к острову, осуждающе послушал гудение машин, скрип повозок по песку, голоса в темноте и зашагал, натываясь на корневища.

– Старший лейтенант! – вполголоса позвал он, ничего не видя в плотных потемках осенней ночи.

Впереди кто-то простуженно покашлял, и отозвался мягко картавящий голос:

⁷ ОСВОД – Общество содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях СССР (1931–1956).

– Вы, Кравчук?

– Я.

– Подойдите, пожалуйста, сюда. Я послал Скляра искать старшину. Исчез куда-то старшина. Кухни до сих пор нет.

– Тут ведь стреляют, – насмешливо произнес в темноте женский голос.

Кравчук огляделся: на снаряженных ящиках, подняв воротник шинели, сутулился старший лейтенант Кондратьев, сбоку, почти сливаясь с ним, сидела батарейный санинструктор Шурочка. Когда же подошел Кравчук, она не отодвинулась от комбата; он сам немного отстранился, простуженно спросил сквозь кашель:

– Как дела, сержант?

– Что же вы к костерку-то не идете, товарищ старший лейтенант? – Кравчук неодобрительно глянул на освещенное ракетой лицо Шурочки, добавил: – Кашляете... А шинель мокрая небось...

– Все обсушились? – отозвался Кондратьев. – Как Лузанчиков?

– Озяб. Опомниться не может.

– Что от Сухоплюева?

– Танки, говорят, там ходят.

– Это мы и отсюда слышим, – по-прежнему насмешливо сказала Шурочка, точно мстя сержанту за его осуждающий взгляд.

– Да, это я отсюда слышу, – повторил Кондратьев задумчиво. – Гудят.

И в это время с правого берега ударили танки. Спаренные разрывы на кромке острова осветили склоненные фигуры саперов. И снова: выстрел – разрыв.

– Вот они... Прямой наводкой, – сказал Кравчук. – В обороне врыты. И зацепился он как зверь. Что ж, опять купаться будем, товарищ старший лейтенант?

Он спросил это без тени улыбки – Кравчук не умел шутить – и долго глядел на правый берег, ожидая, что скажет Кондратьев. Тот молчал, молчала и Шурочка, и, понимая это молчание по-своему, Кравчук подумал, что до его прихода был между ними иной разговор. Он осуждал командира батареи, но с особенной неприязнью судил он вызывающую эту Шурочку, которая открыто льнула к Кондратьеву. Он осуждал ее ревниво и хмуро, потому что хорошо знал о прежних отношениях ее и капитана Ермакова. Сержант недолюбливал Кондратьева за его странную манеру отдавать приказания: «прошу вас», «не забудьте», «спасибо» – и порой с чувством неудовольствия и удивления вспоминал те времена, когда капитан Ермаков перед всей батареей называл старшего лейтенанта умницей.

После того как капитан Ермаков отбыл в госпиталь и место его занял командир первого взвода Кондратьев, санинструктор Шурочка стала властно, на виду всей батареи, брать его в руки, командовать им, и Кравчука оскорбляло это бабье вмешательство. До этого он пытался ее защищать: тонкая, с высокой грудью, в ладной, всегда чистой гимнастерке, в хромовых сапожках, она вызывала в нем трудную тоску по женской ласке, но когда теперь Дервянко едко говорил, что она из тех, кто вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на другом, Кравчук не останавливал его, как прежде.

– Так как же, товарищ старший лейтенант? – переспросил Кравчук, в темноте чувствуя на себе взгляд Шурочки. – Снова купаться будем?

Помолчав, Кондратьев ответил тихо:

– Вряд ли все переправимся нынче ночью. Только что я разговаривал с саперным капитаном. Ругается на чем свет стоит – восемь человек у него за два часа выкосило. Пойдемте. Посмотрим, как там...

Он встал, и Кравчук увидел в мерцании ракет его сутуловатую фигуру в мешковатой шинели с нелепо торчащим воротником.

«Экий слабак! Искупался в Днепре – простуду схватил», – неодобрительно подумал никогда в жизни не болевший Кравчук.

Шурочка тоже поднялась, гибко, бесшумно, только сапожки скрипнули. Сказала властно:

– Старший лейтенант Кондратьев!

– Что, Шурочка?

– С вашим бронхитом не советую лазить в воду. Вам у костра погреться надо. Портянки просушить. Шинель. Выпить водки с аспирином.

– Что же делать, Шурочка? – виновато ответил Кондратьев. – Старшины нет. Водки нет.

«Что ты, умная такая, раньше обо всем этом молчала?» – сообразил Кравчук и со злостью сказал:

– На войне нет бронхита.

Кондратьев смущенно проговорил:

– Да, да, конечно. Идемте, Кравчук.

– Что же, пойдем! – твердо сказала Шурочка, как будто Кондратьев обращался к ней.

И пока шли впотьмах меж сосен, пока шагали по острову к берегу, Кравчук неотступно слышал позади тонкий, решительный скрип песка под Шурочкиными сапогами, думал: «Экая сатана бабенка, ничего не боится, закрутит Кондратьеву голову. И кто это выдумал – женщин на войне держать! Одна беда, неразбериха, тоска от них».

Они задержались на берегу, в сырой тьме, пронизываемые ветром. С явным недоверием прислушались к короткому затишью на той стороне – странно молчали пулеметы в непроницаемо сгустившейся ночи, оттуда, из темноты, веяло сладковатой гнильцой трупов.

– Вот, – прошептал Кравчук. – Притихли...

– Ужин, – ответил Кондратьев, сдерживая кашель. – Немцы пунктуальны...

Потом донесся спешащий стук топора, голоса вблизи воды, отрывистые команды: «Шевелись! По-быстрому!» Там, внизу, ползали саперы вокруг сколачиваемого парома, и Кондратьев окликнул:

– Капитан, капитан!

– Кто там? Эй! Кто там? – отозвался из потемок прокуренный начальственный баритон. – Давай сюда!

Кондратьев не успел ответить. Над Днепром с шипением повисли гроздь ракет, заработали пулеметы, смешались зеленые и белые светы в небе, смешались трассы, конусом несясь к парому, и весь берег, фигурки саперов озарилась, проступили из ночи, как на желтом листе бумаги. Гулко сдваивая, ударили танки. Слева возник широкий дымящийся синий столб, скользнул по берегу и уперся в какую-то лодчонку, подле которой мигом рассыпались люди.

– Ложись!

Они упали на мокрый песок, в свежую щепу у самого парома, над головой взвизгивали трассирующие пули.

– Разрывные, – пояснил Кравчук и увидел: к лежавшему впереди Кондратьеву подползает от парома человек в офицерской фуражке.

– Кто такие? – спросил, преодолевая одышку, начальственный баритон.

– Как дела с паромом? – ответил Кондратьев.

– А вы не видите? Ей-богу! Ходите, демаскируете. Людей у меня косит. Дайте солдат. Человек пять-шесть. Пришлите людей... И дуйте отсюда.

– Сколько нужно людей?

– Десять человек.

– Много просите, – мягко возразил Кондратьев, и Кравчук, услышав, подумал облегченно: «Вроде правильно...»

– Давай, давай отсюда, артиллеристы... Видишь, прожектора появились... Давай! Не демаскируй!

Они ползком выбрались из района саперов и молча двинулись в глубь острова. Кондратьев покашливал. Шурочка шла рядом с ним. Кравчук спросил:

– Кого пошлем?

– Подумаем, – невнятно ответил Кондратьев.

Впереди послышалось фыркание лошади, легкий металлический звук; под деревьями, низко над землей, затлели угольки, дохнуло теплым запахом подгоревшей пшенной каши.

– Кто идет? – раздался неподалеку полувеселый окрик.

– Это вы, Скляр? – спросил Кондратьев. – Что, нашли старшину?

– Товарищ старший лейтенант, вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. Вы не поверите своим ушам! – торопясь, оживленно заговорил невидимый в темноте Скляр. – Вы не поверите своим ушам, кого я привез от старшины! Он был у старшины...

– Что-что? – не понял Кондратьев. – О чем вы?

– Я вам не скажу, вы сами посмотрите! – восторженно воскликнул Скляр. – Это почти военная тайна...

Кравчуку не понравился этот вольный оборот речи.

– Что такое? – грозно повысил голос Кравчук. – Почему так со старшим лейтенантом?

– Я извиняюсь! Товарищ старший лейтенант... товарищ сержант, вы не поверите своим ушам! Вы сами посмотрите, – произнес Скляр секретным шепотом. – Там, в воронке!..

Они подошли к бомбовой воронке; снизу доносился говор. Кондратьев откинул брезент, и все трое соскользнули вниз, к костру, в дым, в тепло, в запах парных шинелей.

Возле огня в окружении солдат и потного растерянного старшины Цыгичко сидел на ящике капитан Ермаков, свежесбрившийся, веселый, в расстегнутой на груди шинели, ел из котелка горячую кашу, дул на ложку, глядя на вошедших темными улыбающимися глазами. И обрадованный Кравчук мгновенно успел заметить, как Шурочка прикусила белыми зубами губу, как золотая пуговка на высокой ее груди всколыхнулась, как у Кондратьева стало беззащитным лицо.

– Сережка!.. – воскликнул Ермаков, швырнул со звоном ложку в котелок и, оттолкнув умиленно заморгавшего старшину, встал навстречу. – Здравствуй, Сережка! Здравствуй, Шура! Здорбво, брат Кравчук!

Он сильно обнял Кондратьева, потом Кравчука, шутливо обнял и Шуру, звонко поцеловал ее в щеку и засмеялся.

– А ну-ка садись все! Старшина, котелки да горячую кашу. Да пожирней у меня! Мигом!

– Слушаюсь, товарищ капитан!

Старшина Цыгичко, пожилой человек с острым хрящеватым носом и пухлым откормленным лицом, не вылез – выпорхнул из-под брезента, струйка песка зашуршала, скатываясь к сапогам Шурочки, а Кондратьев опустился на угол ящика, проговорил взволнованно:

– Неожиданно ты. Из госпиталя? А я вот за тебя командую...

– Очень рад, – сказал Ермаков. – Слушай, по дороге узнал, что у тебя четыре орудия на той стороне, а здесь ребята рассказали, что только два... Значит, половины батареи нет? Объясни, пожалуйста.

Кондратьев вздохнул, положил руки на колени и сконфуженно стал говорить, что только два орудия удалось переправить на правый берег: одно прямым попаданием разбило на пароме, на середине Днепра, плоты затонули; четвертое орудие еще не вернулось из армейских мастерских, оно там второй день; вчера убило лейтенанта Григорьева, ранило сержанта Соляника, наводчика Дерябина, остальные добрались сюда вплавь, с ранеными. Это было прошлой ночью...

Ермаков ковырнул ложкой дымящуюся кашу, бросил ложку в котелок.

– Значит, фактически батареи нет?

– Да, я сейчас от саперов. Просят людей. Бесконечные потери у них.

– Сколько же они просят людей?

Кондратьев закашлялся, отвел лицо, смущенно стряхивая слезы, выдавленные бухающим, простудным кашлем.

– Шесть человек.

По острову пронеслись скачущие разрывы – вдоль берега, ближе, ближе, – брезент упруго вогнулся. Все сидевшие в воронке напряженно начали есть, никто не глядел на Ермакова, на Кондратьева, все ожидали: шесть человек, – значит, идти сейчас от этого костра туда, под огонь, в холодную воду, чтобы выполнять чужую работу саперов.

– На чужой шее хотят в рай съездить, – сказал Дервянко безразлично.

Лузанчиков, закутавшись в кравчуковскую плащ-палатку, блестя глазами, придвинулся к костру, Елютин с недоверчивым видом поскреб пустой котелок, перевернул его, на дно невозмутимо положил часы. И придержал их рукой, потому что часы, позванивая, заплясали от взрывов. Бобков преспокойно вытирал соломой ложку, посматривал на хмурого Кравчука, из-за спины его вопросительно выглядывал телефонист.

Разрывы скакали по острову. Один из них тяжело встряхнул воздух над брезентом.

Тогда в воронку, расплескивая на добротную офицерскую шинель кашу из котелков, шумно вкатился на ягодицах старшина Цыгичко, фальшиво посмеиваясь, сообщил:

– Як саданет коло кухни, чтобы его дьявол! Коней начисто побьет! А прожектором по берегу... да пулеметы... Чешет, як сатана!

Он возбужденно раздувал хрящеватый нос, ставя котелки, и почему-то искательно улынулся Шуручке. А она, напряженно следя за колебанием костра, проговорила с насмешливой дерзостью:

– Все снаряды рвутся около кухни. Давно известно! Стреляют у нас, а снаряды рвутся у вас.

Но в это мгновение никто не поддержал ее. Старшина осторожно вздохнул через ноздри, отошел в тень, аккуратно соскребывая щепочкой кашу на шинели.

– Шесть человек? – переспросил Ермаков и посмотрел на Кондратьева почти нежно. – Ни одного человека. Куда, к черту, вы годны сейчас? Наворачивай кашу.

– Я обещал саперам, – возразил Кондратьев, от волнения картавя сильнее обычного, и наклонился к огню, стиснув на коленях худые руки. – Видел, что происходит на острове? Саперы просто не успевают...

Ермаков носком сапога толкнул дощечку в костер, отчего зазвенела начищенная шпора, громко позвал:

– Старшина! – И когда Цыгичко со сладким ожиданием оборотил к нему сытое лицо свое, спокойно спросил: – Сколько раз за мое отсутствие опаздывали в батарею с кухней?

– Товарищ капитан!.. Як же можно?

– Полагаю, не меньше шести раз. Таким образом, отберите пять человек ездовых, вы – шестой. И в распоряжение саперов. Повара Караяна оставьте за себя. Всё.

В быстрых, ищущих опору пальцах старшины сломалась щепочка, которой он чистил шинель, выбритые щеки задрожали.

– Товарищ капитан...

Ермаков внимательно оглядел его с ног до головы, спросил тоном некоторого беспокойства:

– Много ли у вас еще годных шинелей в обозе, Цыгичко?

– Нету, товарищ капитан... Як же можно?..

– На самогон меняете? Или на сало? У вас было двенадцать шинелей в запасе. – Ермаков бесцеремонно повернул мгновенно вспотевшего старшину на свет, опять осмотрел его. – Что ж, прекрасная офицерская шинель. Отлично сшита. Снимите, она вам мала. Вы растолстели, Цыгичко. У вас нефронтной вид. – И обернулся к Кондратьеву: – Снимите-ка свою шинель.

И поменяйтесь. Как вы раньше не догадались, Цыгичко? Люди ходят в мокрых шинелях, а вы и ухом не шевельнете.

Цыгичко задвигался, не сразу найдя пуговицы, начал торопливо расстегивать шинель, а Кондратьев, с красными пятнами на щеках, невнятно проговорил:

– Не стоит... Не надо это... Зачем?

Пальцы Цыгичко замедлили скольжение по пуговицам. Заметив это, Ермаков чуточку поднял голос:

– Снять шинель!

Старшина, суетливо ёжась, как голый в бане, снял шинель, отстегнул погоны, и Кондратьев неловко накинул ее на влажную гимнастерку.

– Марш! – сказал Ермаков старшине. – И через десять минут с людьми к саперам. Думаю, ясно. – Он улыбнулся молчавшей Шуручке: – Пошли!

«Хозяин приехал», – удовлетворенно подумал строго наблюдавший все это сержант Кравчук. И понимающе посмотрел в спину Шуручке, которая вслед за Ермаковым покорно выбиралась из воронки.

– Ты ждала меня, Шура?

– Я? Да, наверно, ждала.

– Почему говоришь так холодно?

– А ты? Неужели тебе женщин не хватало там, в госпитале? Красивый, ордена... Там любят фронтовиков... Ну, что же ты молчишь? Так сразу и замолчал...

– Шура! Я очень скучал...

– Скуча-ал? Ну кто я тебе? Полевая походная жена... Любовница. На срок войны...

– Ты обо всем этом подумала, когда меня не было здесь?

– А ты там целовал других женщин и не думал, конечно, об этом. Ах, ты соскучился? Ты так соскучился, что даже письмеца ни одного не прислал?

– Госпиталь перебрасывали с места на место. Адрес менялся. Ты сама знаешь.

– Я знаю, что тебе нужно от меня...

– Замолчи, Шура!

– Вот видишь, «замолчи»! Что ж, я ведь тоже солдат. Слушаюсь.

– Прости.

Он сказал это и услышал, как Шура ненужно засмеялась. Они остановились шагах в тридцати от воронки. Ветер, колыхая во тьме голоса всё прибывавших на остров солдат, порой приносил струю тошнотворного запаха разлагающихся убитых лошадей, с сухим шорохом ворошил листьями. Они сыпались, отрываясь от мотающихся на ветру ветвей, цеплялись за шинель, – по острову вольно гулял октябрь. Впотымах смутно белело Шурино лицо, угадывались тонкие полоски бровей, но ему был неприятен этот ее ненужный смех, ее вызывающий, горечью зазвеневший голос. Ермаков сказал:

– Что случилось, Шура?

Он притянул ее за несгибающуюся спину, нашел холодные губы, с жаркой нежностью, до боли, почувствовав свежую скользкость ее зубов. Она отвечала ему слабым равнодушным движением губ, тогда он легонько, раздраженно оттолкнул ее от себя.

– Ты забыла меня? – И, помолчав, повторил: – Забыла?

Она оставалась недвижимой.

– Нет...

– Что – нет?

– Нет, – сказала она упрямо, и странный звук, похожий на сдавленный глоток, вырвался из ее горла.

– Шура! В чем дело? – Он взял ее за плечи, несильно потрянул.

Она все молчала. Справа, метрах в пятнадцати, ломаясь через кусты и переговариваясь, прошла группа солдат к Днепру, один сказал: «К утру успеть бы...»

Нетерпеливо переждав, он опять обнял ее, приблизил ее лицо к своему, увидел, как темные полоски бровей горько, бессильно вздрогнули, и, откинув голову, кусая губы, она беззвучно, прерывисто, стараясь сдерживаться, заплакала. Она словно рыдала в себя, без слёз.

– Ну что, что? – с жалостью спросил он, прижимая ее, вздрагивающую, к себе.

– Тебя убьют, – выдавила она. – Убьют. Такого...

– Что? – Он засмеялся. – Прекрати слезы! Глупо, черт возьми! Что за панихида?

Он нашел ее рот, а она резко отклонила голову, вырвалась и, отступая от него, прислонилась спиной к сосне; оттуда сказала злым голосом:

– Не надо. Не хочу. Ничего не надо. Мы с тобой четыре месяца. Фронтная любовница с ребенком?.. Не хочу! И меня могут убить с ребенком...

– Какой ребенок?

– Он может быть.

– Он, может быть, есть? – тихо спросил Ермаков, подходя к ней. – Что уж там «может быть»? Есть?

– Нет, – ответила она и медленно покачала головой. – Нет. И не будет. От тебя не будет.

– А я бы хотел. – Он улыбнулся. – Интересно, какая ты мать. И жена... Ну, хватит слёз. В госпитале я тебе не изменял. Умирать не собираюсь. Еще тебя недоцеловал. Поцелуй меня.

Шура стояла прислонясь затылком к сосне.

– Ну, поцелуй же, – настойчиво попросил он. – Я очень соскучился. Вот так обними (он положил ее безжизненные руки к себе на плечи), прижмись и поцелуй!

– Приказываешь? Да? – безразличным голосом спросила она, пытаясь освободить руки, однако он, не отпуская, уверенно обвил их вокруг своей шеи.

– Глупости, Шура! Ведь я еще не командир батареи. Пока Кондратьев.

– А уже всем приказывал! Как ты любишь командовать!

– Все же это моя батарея. Честное слово, укокошит ни с того ни с сего, как ты напророчила, и не придется целовать тебя...

Шура со всхлипом вздохнула, вдруг тихо подалась к нему, слабо придавилась грудью к его груди, подняла лицо.

Он крепко обнял ее, ставшую привычно податливой.

«Опять, все опять началось», – подумала Шура с тоской, когда они шли к батарее.

Ермаков говорил ей устало:

– Я рвался сюда. К тебе. Неужели не веришь?

«Нет, я не верю, – думала Шура, – но я виновата, виновата сама... Ему нужно оправдывать ненужную эту любовь, в которую он тоже не верит... Всё временно, всё ненадежно... Он рвался сюда? Нет, не я тянула его. Он относится ко мне как вообще к женщине, ни разу не сказал серьезно, что любит. Только однажды сказал, что самое лучшее, что создала природа, – это женщина... мать... жена... Жена!.. Полевая, походная... А если ребенок? Здесь ребенок?»

Злые внезапные слезы подступили к ее горлу, сдавили дыхание.

А он в это время, сильно прижимая ее плечо к своему, спросил обеспокоенно:

– Ну, почему молчишь?

Тогда она ответила, сглотнув слезы:

– В батарею пришли.

В отдаленном огне ракет возникли темневшие между деревьями снарядные ящики. Силуэт часового не пошевелился, когда под ногами Бориса и Шуры зашуршали листья.

– Там, у ящиков! Часовой! – окликнул Ермаков. – Заснули? Унесут в мешке к чертовой матери за Днепр!

Круглая фигура часового затопталась, задвигалась, и тут же ответил обнадеживающий голос Склера:

– Я не сплю, нет. Я слушаю, как ветер свистит в кончике моего штыка. Всё в порядке.

– Так уж всё в порядке? – сказал Ермаков, поглядев на скользкий по кромке берега голубой луч прожектора. – Немцы жизни не дают, а ты – «в порядке»...

– Так точно. Вчера искупали. Нас и пехоту. А пехота вся на этот берег – назад. Как мухи на воду. Все обратно, на остров... А если опять искупают?

– Позови Кондратьева, – приказал Ермаков.

– А он старшину с ездовыми к саперам повел.

– Узнаю интеллигента. Не мог послать Кравчука, – насмешливо сказал Ермаков. – Пошли, Шура, к ним.

– Куда? – Шура стояла опустив подбородок в воротник шинели.

– К саперам.

– Не надо этого. Не надо! – неожиданно страстно попросила она. – Зачем тебе?

Он посмотрел на нее удивленно. Никогда раньше она не вмешивалась в его дела; просто он не допустил бы, чтобы она как-то влияла на его поступки. Но почему-то сейчас, после близости с ней, после ее приглушенных слёз, к которым он не привык, которые были неприятны ему, он не мог рассердиться на нее. И он ответил полушутливо, не заботясь, что подумает об этом Склера:

– Война тем война, что везде стреляют. Значит, ты не разлюбила меня, Шура? – Нагнулся, отцепил шпоры, небрежно кинул их на снарядный ящик. – Спрячь, Склера.

– Это уж верно, демаскируют, – согласился Склера. – Ни к чему. А мне как, товарищ капитан? К вам опять в ординарцы? Или как?

С дороги, гудевшей сквозь ветер отдаленным движением, голосами, внезапно вспыхнули, приближаясь, покачиваясь на стволах сосен, полосы света.

Склера сорвался с места, суматошно крича:

– Стой! Гаси свет! Куда прёшь? Не видишь – батарея? Гаси фары, говорят!

Фары погасли.

– А мне батарею и не нужно, не голоси, ради бога! Вконец испугал, колени трясутся. Мне капитана Ермакова.

Низкий «виллис», врезаясь в кусты, затормозил, и по невозмутимому голосу, затем по легким шагам Ермаков узнал Витьковского.

– Ты? Что привез?

– Я, – ответил Жорка, весь приятно пропахший бензином, и что-то сунул в руку капитана. – Скушайте галетку. Великолепная, немецкая. Вас срочно в штаб дивизии. Иверзев вызывает...

– Иверзев?

– Ага. – Жорка потянул Ермакова за рукав, дыша мятной галеткой, зашептал: – Тут вроде форсировать не будут. Что-то затевается. Вроде Володи. Вас – срочно. Скушайте галетку-то...

– Галетку? – задумчиво спросил Борис. – А много у тебя этих галеток?

Жорка обрадованно ответил:

– Да полмешка, должно. В машине с запчастями вожу. Чтоб полковник не заметил. Он что увидит – р-раз! – и за борт! И чертей на голову. В Сумах на немецких складах взял.

– Давай сюда, аристократ. Выкладывай мешок на ящики. Склера, отнеси ребятам конфискованное...

Он подошел к Шуре, пристально взглянул в белеющее лицо и не увидел, а угадал затаенную не то тревогу, не то радость по выгнутым ее бровям.

– Что? – спросила она шепотом.

– Еду. Передай Кондратьеву. И пусть не щеголяет интеллигентностью. – И чересчур поспешно, холодно поцеловал, едва прикоснулся к губам ее.

Она чувствовала тающий холодок его поцелуя и ревниво и мстительно говорила самой себе: «Уже не нужна ему. Нет, не нужна».

А он, садясь в «виллис», спросил:

– Может, со мной поедешь?

– Нет, Борис. Нет...

– Ограбили! – сказал Жорка и засмеялся. «Виллис» тронулся, затрещали кусты.

Шура, опершись рукой на снаряжный ящик, смотрела в потемки, где трассирующей пулей стремительно уносился рубиновый огонек машины, и с тоскливой горечью думала: «Ограбили. Это он обо мне сказал».

Глава четвертая

В этом маленьком селе тылы дивизии смешались с полковыми тылами: все было забито штабными машинами, санитарными и хозяйственными повозками, дымящимися кухнями, распространявшими в осеннем воздухе запах теплого варева, заседланными лошадьми полковой разведки, дивизионных связных и ординарцев. Все это в три часа ночи не спало и жило особой, лихорадочно возбужденной жизнью, какая бывает обычно во время внезапно прекратившегося наступления.

Круто объезжая тяжелые тягачи, прицепленные к ним орудия, темные, замаскированные еловыми ветвями танки, Жорка вывел наконец машину на середину улицы, повернул в заросший наглухо переулок. «Виллис» вкатил под деревья, как в шалаш; сквозь ветви уютно светились красные щели ставен. Жорка, соскакивая на дорогу, сказал:

– Полковник сперва к себе велел завезти. Свои, свои в доску! – отозвался он весело на окрик часового у крыльца. – Чего голосишь – людей пугаешь?

Борис взбежал по ступеням и, разминая ноги, вошел в первую половину хаты, прищурился после тьмы. Пахнуло каленым запахом семечек, хлебом. На столе в полный огонь горела трехлинейная керосиновая лампа с вычищенным стеклом, освещающая аккуратно выбеленную комнату, просторную печь, вышитые рушники под тускло теплившимися образами в углу. Сияя изумленной радостью, от стола услужливо привскочил, оправляя гимнастерку, полковой писарь, и начищенная до серебристого мерцания медаль «За боевые заслуги» мотнулась на его груди.

– Товарищ капитан! Здравия желаю! – взволнованной хрипотцой пропел он, вытянувшись, а правую, измазанную чернилами ладошку суетливо вытер о бок. – Из госпиталя? К нам?

– Привет, Вася! Жив? – ответил Ермаков и не без интереса заметил возле печи незнакомого солдата, который позевывал и с задумчивым видом поигрывал новеньким парабеллумом. Крепко сбитый в плечах, был он в офицерских яловых сапогах, в суконной гимнастерке, на ремне лакированно блестя расстегнутая немецкая кобура.

– Разведчик? – спросил Ермаков, слыша приглушенные голоса из другой половины. – «Языков» привели?

– Точно. – Солдат подбросил парабеллум, втокнул его в кобуру на левом бедре: так носили пистолеты немцы.

– Полковник с ними разговаривает, – таинственно шепнул Вася. – Долго они чего-то...

Ермаков вошел в тот момент, когда полковник Гуляев, очевидно, заканчивал допрос пленных. Он сидел за столом, утомленный, грузный, со вспухшей шеей, заклеенной латками пластыря, повернувшись всем телом к узколицему лейтенанту-переводчику с косыми щеголеватыми бачками. Увидев на пороге Ермакова, оборвал речь на полуслове, в усталых глазах толкнулось беспокойство, сказал:

– Садитесь, капитан.

При виде незнакомого офицера высокий, в коротенькой куртке немец вскочил, разогнувшись пружиной, по-уставному вскинул юношеский, раздвоенный ямочкой подбородок. Другой немец не пошевелился на табурете; уже лысеющий со лба, сухонький, желтый, будто личинка, он, чудилось, ссутулясь, дремал; его ноги были толсто забинтованы, напоминая тряпичные куклы.

На столе с гудением ярко горели две артиллерийские гильзы, заправленные бензином.

Ермаков присел на подоконник, и высокий молодой немец тотчас же сел, задвигаясь на табурете, нервно пригладил рукой волосы, вопросительно озираясь на Ермакова.

– Сегодня взяли, – сказал полковник вполголоса. – Пулеметчики. Вот этот щупленький, раненный, когда брали, хотел себя прикончить. Ефрейтор... между прочим, рабочий типографии. Киндер⁸, киндер, трое киндер у него. А этот молодой – слабак.

– Ja, ja⁹, – с улыбкой, предупреждаясь постучал себя в грудь молодой и показал палец, давая понять, что у него тоже есть ребенок, а лысеющий сутулый слепо посмотрел на его палец и равнодушно пожевал губами.

– Время идет, – недовольно сказал полковник переводчику. – Спросите этого еще раз... где у них резервы? Расспросите подробнее. На что рассчитывают?.. Молодого не спрашивай: этот что угодно наплетет... щупленького...

Переводчик торопливо и отчетливо заговорил, обращаясь к щупленькому; немец неподвижно, как слепой, посмотрел ему в губы, приподнял одну ногу-куколку, переставил ее и начал отвечать замедленно, ровным, въедающимся голосом. Переводчик забегал карандашом по бумаге, упреждительно наклонился к Гуляеву:

– Оборона вглубь на несколько километров. В несколько эшелонов. На флангах танки. Артиллерия. Это Восточный вал. Он закрывает путь к Днепру. Все офицеры и солдаты это знают. Приказ по армиям – ни шагу назад. За отступление – расстрел. Здесь люфтваффе¹⁰. Они закончат здесь победоносную войну. Разобьют русские армии и перейдут в наступление. Днепр – это перелом войны. До Днепра немецкая армия отступала. Это был тактический ход. Сохранить силы... Причем здесь находятся и эсэсовские части¹¹. Они стреляют до последнего патрона. Потому что мы их не пощадим. Как, впрочем, не пощадим и немцев пленных. Мы им устроим телефон...

– Скажи на милость, – произнес Гуляев, рассеянно барабанив пальцами по столу. – Ни шагу назад. А спроси-ка его, что такое телефон?

Опять ровный въедающийся голос, и опять карандаш переводчика забегал по бумаге.

– Им двоим, ему и вот этому молодому дураку, распорют животы, размотают кишки и свяжут их узлом. За то, что они зверствовали на Украине. Но это пропаганда. Война не идет без жестокости. Это знает русский полковник.

Когда переводчик договорил, щупленький снова переставил свою ногу-куколку, а лицо молодого окаменело, розовые губы растерянно-жалко растянулись, лоб и круглый подбородок покрылись испариной. Ермаков усмехнулся; полковник Гуляев сильнее забарабанил по столу, пристально из-под припухлых век разглядывая щупленького.

– Скажи ему, – строго произнес полковник, – что этот телефон устраивали эсэсовцы русским пленным под Гомелем. Кавардак у него в башке! И потом скажи ему... Как же так... он, рабочий, пролетарий... со спокойной душой воюет против русских рабочих... Знает он, что такое международный пролетариат? А? Спроси его... Как оправдывает он себя, что как самый закоренелый эсэовец воюет?.. Ведь он все же рабочий?

Переводчик глубокомысленно собрал кожу на лбу и, так же как полковник, отчетливым, строгим голосом заговорил с щупленьким. Глаза немца, глаза больной птицы, подернутые пленкой равнодушия, неизбывной усталости, на миг вроде очистились, пропустили в себя смысл заданного вопроса, он ответил необычно быстро, почти брезгливо. И переводчик не совсем уверенно перевел:

⁸ К и н д е р – дети (нем. Kinder).

⁹ Да, да (нем.).

¹⁰ Люфтваффе (нем. Luftwaffe) – военно-воздушные силы Германии (1933–1945).

¹¹ Эсэсовские части – части СС (нем. SS, сокр. от Schutzstaffeln – охранные отряды). В годы Великой Отечественной войны войска СС представляли собой отборные ударные соединения сухопутных сил фашистской Германии, отличались крайним фанатизмом и исключительной жестокостью в тылу и на фронте.

– Когда после Версальского мира¹² Германия голодала, международный пролетариат не помог ей. Германии нужен был хлеб, а не слова.

– Хватит! Достаточно!

Гуляев поднялся нетерпеливо, и, как бы все уяснив, вскочил молодой немец, выставил круглый подбородок, вытянулся, замирая; тогда щупленький, как по команде, вздернув свою маленькую лысеющую голову, коротко и зло сказал что-то сквозь зубы этому молодому.

– Что он? – нахмурился Гуляев.

– Он сказал: спокойно, кошачье дерьмо, ты солдат! – неохотно ответил переводчик.

– Легостаев! Увезти. В штаб дивизии! – крикнул Гуляев.

Вошел разведчик мягкой походкой, поправил на левом боку кобуру парабеллума.

В ту же минуту молоденький немец покорно стал на колени перед щупленьким, нагнул крепкую шею, бережно, словно ощупывая, где не больно, взял ефрейтора за талию и легко посадил его к себе на плечи, ноги-куколки повисли на его груди. Раненый немец передернулся от боли, сжал рот, но ни одного звука не издал.

– Давай, – сказал Легостаев, раскрыв дверь.

Пригибаясь, чтобы ефрейтор не задел за притолоку, молодой немец вынес его из комнаты, и Легостаев закрыл за ними дверь. Стало тихо. В раздумье Гуляев медленно складывал лежащую на столе карту.

– Что скажешь, капитан? Матерые сидят против нас? Шапками не закидаешь! На ура не возьмешь! А?

– Интереснейший тип этот ефрейтор, – проговорил Ермаков.

– Вы скажете, товарищ капитан, – робко возразил переводчик, опустив глаза. – Это убежденный гитлеровец. Что же в нем интересного? Странно...

Ермаков презрительно смерил переводчика взглядом.

– А я и не надеялся увидеть в этом ефрейторе сторонника русских...

– Прекратите бесполезные разговоры! – прервал Гуляев, рывком надевая шинель. – Вы свободны, лейтенант. Капитан Ермаков, останьтесь. Тебя вызвал не я, – сказал он, когда переводчик вышел. – Тебя вызывают в штаб дивизии.

– Зачем?

Гуляев отвел глаза, озабоченно ответил:

– Некогда. Пошли... Иверзев не простит опоздания.

...В одной из нескольких хат, где размещался штаб дивизии, светло, чисто, подметено и среди сидевших вдоль стен офицеров та подчеркнутая и почтительная тишина, которая в военной среде всегда означает, что рядом присутствует высшее начальство: здесь педантично выбритые адъютанты и офицеры штаба двигались бесшумно, тут привыкли говорить негромкими голосами, команды не повторялись два раза – здесь мозг дивизии. До последнего ранения Ермакову приходилось бывать в штабе дивизии при прежнем генерале Остроухове, и каждый раз, уезжая в батарею из этой полутемной, напоминавшей мудрое спокойствие забытых московских читален, он увозил с собой тягостное чувство неудовлетворенности, словно кто-то напоминал ему, что война – это не его профессия, что звание капитана, ордена, так легко доставшиеся ему, все чужое, и, может быть, он отдал бы это все за одну лекцию по высшей математике. Испытывал он это чувство потому, что давно и легко свыкся с офицерской формой, казалось порой, что воевал целую жизнь, а молва о нем как о смелом до дерзости офицере оставляла ему возможность относительной свободы: не тянуться в тылах, подчеркивая уважение к звездочкам, перед штабными офицерами, что очень не нравилось щепетильно-осмотрительному в вопросах субординации полковнику Гуляеву, говорить открыто, смеяться тогда,

¹² *Версальский мир* – мирный договор (1919), официально завершивший Первую мировую войну.

когда хотелось смеяться, то есть вести себя так, как может вести офицер, знающий себе цену и привыкший к откровенности отношений на передовых позициях.

Когда Ермаков вместе с полковником Гуляевым вошел в наполненную офицерами комнату, все, видимо, были в сборе, многие приветливо закивали Борису, и он увидел знакомых командиров стрелковых батальонов, усталых, плохо выбритых, в несвежих гимнастерках, и ответно подмигнул, улыбнулся им, но тотчас сделал притворно официальное лицо, услышав густой, уважительно пониженный голос Гуляева, докладывающего полковнику Иверзеву о прибытии. Гуляев сделал шаг в сторону, двумя руками одернул китель на выступавшем животе, насупился, кашлянул в ладонь, сел к столу, где в зыбком папиросном дыму белели лица. Соблюдая субординацию, Ермаков должен был докладывать за полковником, однако не успел. Командир дивизии Иверзев, румяный, светловолосый, с синими холодными глазами, одетый в безупречно сшитый стального цвета китель, твердо сказал сочным голосом:

– Опаздываете, капитан Ермаков! Причины?

– Я только что с Днепра, товарищ полковник, – ответил Ермаков, уловив предупреждающий взгляд Гуляева.

– Надо успевать, капитан! Успевать! Садитесь!

С Иверзевым он встречался впервые; был тот прислан в его отсутствие, кажется из запасного офицерского полка, на замену старого, неторопливого генерала Остроухова, чрезвычайно осторожного в принимаемых решениях. За столом Ермаков увидел заместителя командира дивизии по политчасти полковника Алексеева. Тот сидел, трогая высокий лоб, гладко зачесанные назад редкие волосы; худое интеллигентное лицо было свежо, словно недавно умыто, умные глаза мягко и знакомо шурились. Ермаков кивнул замполиту, и сейчас же подполковник Савельев, начальник штаба дивизии, человек тихий, больной сердцем, вынул из зубов незажженную трубку и тоже закивал седеющей головой, явно обрадованный его прибытием.

По всем этим знакам внимания Ермаков мгновенно понял, что в штабе был разговор о нем, и тут же прочно убедился в этом, услышав сбоку шепот:

– Приветствую, капитан! Как говорят, с корабля на бал?

Это был Максимов, командир стрелкового батальона, офицер средних лет; добродушный, ласковый взгляд из-под коротких ресниц светился девичьей озорной улыбкой; она весело брызгала и с его щек, всегда вызывая ответную улыбку.

– Похоже, – ответил Ермаков. – А что?

Максимов положил ему руку на колено, показывая бровями на Иверзева, сказал шепотом:

– Потом, потом...

– Прошу внимания!

Полковник Иверзев, высокий, плотный, ясно глядел перед собой; толстый карандаш был зажат в его маленьком крепком кулаке, кулак без стука опустился на карту, невольно привлекая к себе внимание офицеров. И Ермаков, вспомнив мягкую руку старика Остроухова, почему-то подумал, что кулачок этот беспощаден, властолюбив, неподатлив... Иверзев заговорил:

– Товарищи офицеры! Позавчера два передовых батальона полковника Гуляева подошли к Днепру, пытались форсировать его. Все это, как вам известно, решающих результативных последствий не имело. – Синие глаза Иверзева бегло коснулись нахмуренного лица Гуляева. – Огнем танков, артиллерии, пулеметным огнем батальоны были рассеяны по воде, вынуждены были занять прежнюю позицию на острове. – Острие карандаша ткнулось в карту. – За исключением двух, только двух неполных стрелковых взводов и одного орудия полковой батареи, сумевших переправиться на правый берег.

«Почему одно орудие? Откуда эти сведения?» Ермаков пожал плечами, и тотчас Иверзев перевел на него взгляд – мимолетно синий, холодный свет почувствовал Ермаков на своем лице. Полковник продолжал:

– Все попытки двух батальонов форсировать Днепр вчера ночью закончились неудачей. Наши батальоны столкнулись с глубоко и тщательно подготовленной эшелонированной немецкой обороной, весьма широкой по фронту, как теперь известно. – Иверзев снова опустил сжатый кулак на карту, губы его стали жесткими. – Наша дивизия южнее города Днепрова... Но мы сдерживаем правого и левого соседа, двое суток топчемся на месте.

Иверзев отбросил карандаш, провел пальцами по белейшей полоске подворотничка, видимо давившего горло, четко повторил:

– Двое суток! Вчера дивизия получила пополнение боеприпасами, кроме того, нам приданы танки...

«Так вот оно что! – подумал Ермаков, вспомнив горящую станцию, и поймал тревожно ускользающий взгляд полковника Гуляева. – Что он?»

– Задача дивизии следующая! – звучал голос Иверзева. – Два пополненных батальона восьмидесят пятого стрелкового полка сегодня к рассвету, а именно к пяти часам утра, сосредоточиваются: в районе деревни Золотушино – первый батальон майора Бульбанюка; второй батальон капитана Максимова – в районе лесничества. Первому батальону придаются два орудия под командованием капитана Ермакова, второму – батарея сорокапятимиллиметровых пушек лейтенанта Жарова... Кроме того, батарея восьмидесятидвухмиллиметровых минометов повзводно придается батальонам.

«Так! Значит, я поддерживаю Бульбанюка. Но какими двумя орудиями?» – подумал Ермаков, искал глазами и нашел в углу комнаты крепко скроенного майора Бульбанюка, немолодого, с заметными оспинками на непроницаемом лице. Не поднимая головы, он неторопливо делал пометки на карте, разложив ее на коленях; из-под планшетки видны были давно нечищенные, в ошметках грязи, стоптанные сапоги. «Но какими двумя орудиями? Где они?»

– Цель батальонов: форсировать Днепр на правом фланге обороны, где разведка нашу пала разрывы, вклиниться в оборону, выйти в тыл, занять и удерживать плацдарм в районе Ново-Михайловки – первому батальону, второму – в районе Белохатки и тем самым отвлечь на себя внимание немцев. К этому времени вся дивизия будет сосредоточена в районе острова, готовая как бы к прыжку. – Иверзев ударил ребром ладони по карте. – Как только батальоны, захватив плацдармы, заставят немцев оттянуть часть войск с фронтальных позиций, дивизия нанесет удар по фронту с задачей занять широкий плацдарм на правом берегу, южнее города Днепрова. Завязав бой в районе Ново-Михайловки и Белохатки, батальоны дают знать по радию: «Дайте огня», в случае хорошей видимости – четыре красные ракеты. По этому сигналу дивизия всеми орудийными стволами поддерживает батальоны, затем открывает огонь по немецкой обороне и переходит в наступление, соединяется с батальонами. Такова задача дивизии. Вопросы?

Уперев кулак в стол, Иверзев, ожидая вопросов, долго в молчании смотрел на притихших офицеров. Но никто вопросов не задавал, делали вид, что внимательно изучают карты на планшетках, – каждый из этих давно воевавших пехотных и артиллерийских офицеров хорошо понимал: то, что легко и, казалось, просто начертается в штабах, нестерпимо трудно оборачивается в деле.

Сдержанный полковник Алексеев, одной рукой прикрыв подбородок, другой вертел массивный серебряный портсигар, и блики света, отскакивая от полированной крышки, скользили по залысинам над его высоким лбом. Подполковник Савельев, поглаживая кончик пустой трубки, сосредоточенно посасывал ее; оттененные синевой щеки его ввалились. Капитан Максимов, неопределенно улыбаясь, чистил спичкой ногти, взглядывал на ничего не выражающую спину Бульбанюка.

Было тихо.

Полковник Гуляев, наклонив крупную голову, так что заметна была багровая шея с заплатками пластыря, комкал носовой платок, уставясь в пол, и эта обожженная шея его, про-

сечь в висках, скомканный носовой платок показались Ермакову жалкими сейчас. «Почему он не спрашивает ни о чем? Почему он не говорит, что на левом берегу не осталось ни одного целого орудия? Не знает?» Ермаков вырвал листок из записной книжки, быстро написал: «На плацдарме не одно орудие, а два. Два остальных разбиты при переправе. На острове нет ни одного орудия моей батареи».

– Разрешите, товарищ полковник? – громко сказал Ермаков, обращаясь к Иверзеву.

– Вопрос?

– Нет, не вопрос.

И, провожаемый взглядами насторожившихся офицеров, Ермаков передал записку полковнику Гуляеву, а тот медленно, преодолевая боль в шее, обернулся к нему, утомленно обвел его улыбающееся лицо что-то особо знающими глазами, развернул записку, прочитал и ничего не ответил. «Почему он молчит? Что он?» – вновь раздраженно подумал Ермаков.

– Вопросы? – повторил отчетливо Иверзев. – Полковник Гуляев, вам все ясно? Кстати, кажется, вам передали записку? Может быть, она представляет интерес для всех?

Гуляев грузно встал, будто отяжелевший в ногах, и молчал так длительно, что лица офицеров напряженно оборотились в его сторону.

– Что вы молчите, Василий Матвеевич? – с какой-то надеждой спросил подполковник Савельев.

И тогда Алексеев сказал:

– Дайте Василию Матвеевичу подумать...

– Товарищ полковник, – размеренным голосом проговорил Гуляев, ссутулив широкую спину, – приказ ясен... Но вот что... Из четырех орудий полковой батареи два на плацдарме. Два разбиты при переправе... Кого мне прикажете посылать? Я прошу дополнительных огневых средств.

– Два? Как – два? – изумленно переспросил Иверзев. – Почему так поздно докладываете?

– Виноват, товарищ полковник, – выговорил Гуляев. – Я не мог знать. Я выполнял ваше приказание на станции Узловая.

– С орудиями мы решим, – утвердительно сказал полковник Алексеев. – Да, да. Придется, видимо, взять взвод в арtpолку. Да, придется.

– Товарищи офицеры! – сухо произнес Иверзев. – Всем немедленно приступать... Никого не задерживаю. Все свободны.

Из тепла, из света комнаты командир батальонов стали выходить в плотную тьму улочки, в шум деревьев, на холодный ветер, сквозь который понеслись колыхающиеся голоса:

– Липтяев, лошадь!

– Сиволап, давай сюда! Где пропал?

Продрогшие ординарцы подвели лошадей ближе к крыльцу, застоявшиеся лошади, привыкшие к фронтовой темноте, косили глазами на свет из дверей, фыркая, шевелили влажными ноздрями. Осенний воздух был зябок; и черное небо, вымытое в выси октябрьскими ветрами, мерцало студено, звездно, и ясен и чист был, как снежная дорога, Млечный Путь в холодных черных пространствах над этой деревушкой, над Днепром, над немецкой обороной по правому его берегу.

Командир первого батальона майор Бульбанюк, тяжело крикнув, перекинул сильное тело в седло, буднично спросил Ермакова, который, сходя по ступеням крыльца, закуривал, чиркал зажигалкой:

– Капитан, что там за ерунда на станции приключилась?

– Начальника тыла под суд отдают, кажется.

– Виноватого найти легко, – сказал Бульбанюк. – Липтяев, поехали!

И пустил коня рысью, опережая ординарца.

Полковник Гуляев вышел на крыльцо вместе с Алексеевым. В желтом квадрате распахнувшихся дверей Ермаков увидел их фигуры: невысокую, налитую – полковника Гуляева, длинную, узкоплечую – Алексеева. И мгновенно в свежем воздухе запахло цветочным одеколоном – чистоплотный запах чего-то мирного, давным-давно забытого.

– Капитан Ермаков, – сказал Алексеев вполголоса, спускаясь по ступеням, – вы получите в артполку два орудия с расчетами. Добавьте своих людей. По вашему усмотрению. Ну, дорогой мой, ни пуха вам ни пера! И людей... людей берегите, дорогой мой!

Это странное «дорогой мой», фраза «ни пуха вам ни пера» – обращение и непростое и необыденное – вдруг сказало все: то, что было несколько минут назад в штабе, очень серьезно, и если после боя он останется жив, то не услышит больше необычное «дорогой мой», не почувствует больше невоенного пожатия руки Алексеева – это переступало установленные взаимоотношения. К штабу полка шли молча, на ощупь обходя рытвины, наталкиваясь на влажные от росы повозки, и Ермакову казалось, что в сыром воздухе еще таял ненужный, беспокоящий запах цветочного одеколona, напоминая о том, что простая, недавно тихая жизнь круто изменила русло, и это возбуждало его.

– Одного не понимаю, – сказал Ермаков и швырнул папиросу под ноги. – Зачем унижаться перед Иверзевым? Почему вы мало попросили огневых средств для батальонов? Посмотрели бы на комбатов – все ждали...

– Молчать! Мальчишка! – гневно перебил его Гуляев. – Приказ есть приказ. Тысячу раз спрашивай о средствах – их не дадут, а приказ не отменишь! Фланги! – Гуляев зло рванул его за рукав шинели. – Ничего не понимаешь?

– На войне везде риск. Это нетрудно понять.

– Молокосос! Зяблик! Все с риском живешь, а не с умом!

Ермаков сказал:

– Я не хотел бы ссориться, товарищ полковник...

– Молчи! – прервал Гуляев. – Пойдем ко мне. Поужинаем. – И внезапно, как никогда этого не делал, притянул Ермакова к себе, стиснул до боли в плечах. – Успеешь. Дам лучших лошадей. Успеешь... туда, успеешь...

Глава пятая

По дороге в штаб батальона он не думал о Шурочке; лишь вскользь вспомнил насупленное лицо Гуляева за торопливым ужином: тот залпом выпил кружку водки, некстати сказал, что домой матери о своем возвращении из госпиталя хоть строчку бы черкнул, и, не закусывая, точно скорее хотел проститься, наконец остаться один, крикнул: «Жорка, двух лошадей! Поедешь с капитаном!» – и, даже не обняв на прощание, закончил сумрачно: «Всё!»

Каждый раз, когда капитану Ермакову приходилось выкатывать батарею на прямую наводку или, стоя впереди пехоты, стрелять по танкам, было это «всё». «Всё» – это конец прежнего, грань нового, черта жизни и смерти: сумасшедший огонь, раскаленные стволы орудий, тошнотворная вонь стреляных гильз, страшные в копоты глаза наводчиков. Это называлось подвиг, почетный поступок, вызывающий потом зависть у тыловых офицеров, отмеченный, как правило, боевым орденом или очередной звездочкой на погонах, но тяжелый, грубый, азартный, с солью пота на гимнастерках в тот момент, когда человеческие чувства предельно оголены, когда ничего в мире нет, кроме ползущих на орудия танков. Ермаков любил эти минуты и, не задумываясь, не жалел ни себя, ни людей: он честно рисковал, честно был там, где были все. Он верил в справедливую жестокость судьбы. В жестокость к тем, кто был уверен, что каждая взвизгнувшая пуля летит в него. На войне много раз было это «всё», и сейчас это новое «всё» не угнетало, не беспокоило его опасностью – наоборот, он чувствовал подъем духа, возбуждение.

– Жорка, не отставать! – крикнул Ермаков, хлестнув коня, и разом стало холодно глазам от хлынувшего из тьмы ветра.

– И не думал даже, – ответил Жорка, на рыси притирая вплотную коня к стремяни капитана, – как часики, успеем.

Ему нравился этот Жорка, ясный, спокойный, как летний день, и он спросил весело:

– Жуешь всё? Есть галеты?

– Всё вашим артиллеристам оставил. Карманы чисты, как душа.

– Черт бы тебя взял, – неопределенно сказал Ермаков.

В землянке штаба батальона никого из офицеров не застали. Единственный телефонист, устало дремавший на соломе возле аппарата, сонным голосом сообщил, что роты полчаса назад снялись, а он по приказу уходит отсюда минут через двадцать.

Ермаков спросил:

– Связь с артиллеристами, что на острове, есть?

– А на кой нам с ними-то, товарищ капитан? Только со штабом полка. И то снимаемся.

Ермаков раздраженно выругался, взглянул на фосфоресцирующий циферблат ручных часов (подарок наводчика Елютина), подозвал Жорку, державшего в поводу лошадей.

– Мигом скачи в батарею к Кондратьеву. Скажешь: в мое распоряжение Кравчука, Бобкова, Скляра и... Шуре – ни слова. Всех посадить на лошадей.

– Есть!

– Подожди. Встретимся в Золотушине. Это по дороге вдоль Днепра. На юг. Через час быть там. Ни минуты опоздания. Я в артполк. Ну, как ветер!..

В четвертом часу ночи прямо на огневых позициях артполка, стоявшего в лесу, Ермаков снял два орудия с полными расчетами.

Здесь уже знали приказ Иверзева. Орудия были приведены в походное положение, заспанные, ничего толком не понимающие солдаты жались кучками на станинах¹³, зябко кута-

¹³ Станина – основание, на котором укреплено орудие, пулемет; лафет.

лись в шинели. Командир батареи капитан Ананян, с осиной талией и тонкими усиками, и молодой командир взвода лейтенант Прошин были тут же, на огневой. А когда Ермаков подал команду «на передки»¹⁴, и расчеты забегали, выкатывая орудия из двориков¹⁵ и, звеня вальками¹⁶, упряжки подкатали передки к огневым, тогда капитан Ананян сказал:

– Помни, как сдаю тебе орудия и людей, так и получаю. Понял меня?

Ермаков ответил:

– Лейтенанта Прошина я мог бы не брать. Пусть остается в батарее.

– Но это же мой взвод, товарищ капитан! – умоляющим голосом заговорил лейтенант. – Я прошу вас, очень... Мне надо быть с людьми.

– Совершенно верно, – подтвердил серьезно Ананян.

Ермаков вскочил в сухо скрипнувшее седло; не ответив Ананяну, направил лошадь к орудиям, скомандовал:

– Держать самую короткую дистанцию. За мной. Ма-арш!

Через полчаса он вывел орудия на знакомую лесную дорогу, по которой вчера мчался на «виллисе» к Днепру. Теперь эта дорога вела в тыл, и пулеметные очереди за спиной, мигание ракет над вершинами леса, кишевшего войсками, – все сейчас отдалялось, затихало. И мнилось уже Ермакову, что в госпитале он вовсе не лежал, что вчерашнее было несколько месяцев назад. Просто вернулось знакомое: понтонный мост, где, громыхая, еще двигались повозки, темные бугры убитых лошадей, разбитый «студебеккер» на обочине дороги, воронки бомб; всплыло вдруг в памяти полное румяное лицо Иверзева, потом холодные, неподвижные губы Шурочки, донесся запах цветочного одеколona, – чувствуя, что первое возбуждение прошло, он рванул повод, потрянул головой.

– Рысью марш!..

От небольшой деревеньки, битком набитой тылами, по ее улочкам, насквозь пропахшим кухонным дымом, Ермаков повернул взвод на южную дорогу, в сторону Золотушина; теперь она петляла в лесу вдоль фронта, в нескольких километрах от Днепра. И отсюда не было видно фиолетового света ракет, не было слышно пулеметов, лишь иногда с обвальным ухающим грохотом рвался одинокий тяжелый немецкий снаряд в сырой чаще, и эхо долго, замирая, бродило по своим воздушным тропам.

– Рысью ма-арш!..

Он повторял эту команду, чтобы не ослабить нервное напряжение. Глаза его давно свыклись с темнотой, но Ермаков скорее угадывал дорогу, инстинктивно нагибаясь, когда черные лапы елей влажно ударяли по фуражке; слышал, как сзади легонько звенели вальки передков, как колеса орудий тупо стучали по корневищам; и, оглядываясь, не видел во тьме, а представлял расчеты, цепко облепившие станины и передки: там их было пятнадцать человек.

– Стой, стой! – раздался крик сзади и оборвался в вязкой тишине.

Ермаков круто повернул лошадь, ударил ее плеткой, подскочил к орудиям.

– Что у вас еще?

Было тихо. Первое орудие стояло. Ездовой, ползая на коленях, со злобой ругаясь шепотом, возился около лошадей выноса¹⁷, словно кнут потерял, шипел сквозь зубы:

– Ногу, ногу же, упарилась, дура... Да ногу же...

– Быстреей! – поторопил Ермаков. – Что возитесь?

Он нетерпеливо соскочил на дорогу.

¹⁴ *Передок* – двухколесная повозка, сцепляемая с лафетом и служащая для перевозки артиллерийского орудия.

¹⁵ *Дворик* – часть орудийного окопа, углубление в грунте для размещения орудия.

¹⁶ *Валёк* – деревянный или металлический цилиндр, используемый в качестве катка.

¹⁷ *Выйнос* – способ запряжки лошадей, когда одна или несколько из них припрягаются сбоку или спереди.

– Быстрее, быстрее, – слышался неуверенный голос лейтенанта Прошина, и узкая фигура с поднятым до ушей воротником приблизилась к Ермакову, потом рядом он услышал шепот: – Что-то очень тихо, товарищ капитан... Замечаете? Возможно, тут еще немцы? Подозрительно как-то...

– Возможно, Прошин, – насмешливо ответил Ермаков. – Если уж напоремся на немцев, развернем орудия на дороге. А на всякий случай всегда сохраняйте один патрон в пистолете. Ну? Готово там? – И оглянулся в темноту на орудия.

– Готово, – ответил недовольный голос.

– Садись! Держаться самой короткой дистанции! Марш!

Рассвет он почувствовал по туману, сначала смутно, островами забелевшему в глубине чащи, затем справа и слева у дороги. Вокруг воздух посинел, заметно прояснилось впереди, и там заколыхалось что-то невесомое, живое, трепетное, как будто белый дым пополз от костра через кусты на дорогу. Мокрыми монетами заблестели в старой колее облитые росой опавшие листья. Сразу похолодало; по разгоряченной спине проползла сырая зябкость, рукава шинели покрылись влагой. Ермаков, поёживаясь, глянул назад: проступившие силуэты орудий двинулись в серой мути рассвета.

– Подтяни-ись!

Внезапно впереди распались леса, и внизу открылась долина, до краев залитая туманом. В этом тумане угадывалась близкая вода, запахло рыбой, сыростью, намокшей осокой; купы кустов расплывчато темнели, над ними тянулась молочная мгла. Лесная дорога обрывисто уходила туда, вниз, в туман.

– С рыси на шаг! Одерживай! – скомандовал Ермаков и попридержал лошадь у обочины: он хотел посмотреть при свете утра на орудия, на расчеты.

Первая упряжка на рыси вынырнула из лесного сумрака, следом – другая; увидев спуск, выносные ездовые осадил потных, дымящихся лошадей; лейтенант Прошин, уже отогнув воротник шинели, легко мелькая хромовыми сапожками, первый прыгнул на дорогу, побежал, споткнулся, скомандовал притворно-бодро: «Всем орудия одерживать!» – и живо посмотрел вокруг неестественно зеркальными после бессонной ночи глазами. И Ермаков понял его взгляд: видите, все хорошо, ночь прошла без осложнений, а теперь утро – как ни говорите, страшного ничего не случилось! – и понял он мимолетные недобрые взгляды невыспавшихся солдат, вразброд, неуклюже соскочивших со станин; угрюмые лица, торчащие, влажные от росы воротники, сгорбленные спины. Почти на каждом крепкие ботинки, новые, неумело и туго накрученные обмотки: наверняка пополнение из освобожденных районов. «Кто ты такой? – мрачно спрашивали эти взгляды. – Куда нас ведешь? Зачем?» И Ермаков вдруг разозлился на капитана Ананяна («Кого послал?») и на этих людей («Лежали, милые мои, на горячей печке у баб под боком, когда другие мерзли в окопах!») и, поморщившись, так сильно махнул плеткой, что лошадь под ним шарахнулась в сторону.

– Всем опустить воротники! Не толкаться возле орудий, а лошадям помогать! Да дружнеей!

Командиры орудий, два ладных, подтянутых сержанта одинакового роста, торопливым эхом повторили команды, солдаты, кто суетливо, кто нехотя, опустив воротники, забежали у колес орудий, выказывая нарочитую старательность.

– Лейтенант Прошин, ведите первое орудие. Командиры орудий, ко мне!

Первая упряжка тронулась. Ездовые что есть силы натягивали поводья, коренные лошади, хрипя, мотая головами, приседали на задние ноги; передок, тяжестью орудия наваливаясь на коренных, вальками ударял по ногам. Упряжка спускалась в туман. Когда же второе орудие нырнуло в белесую мглу, Ермаков строго взглянул на командиров орудий и, несколько удивленный, помолчал. Перед ним стройно вытягивались два одинаково молодых сержанта, одинаково большеглазых, одинаково широкоплечих.

– Кажется, я не пьян, – немного отходя от прежнего чувства злости, сказал Ермаков, – но у меня вроде двоится в глазах. Вы что, близнецы?

– Так точно, товарищ капитан, – ответил один из сержантов.

– Что же, все время вместе воюете? Давно на войне?

– Так точно, товарищ капитан, второй год.

– Вы откуда сами?

– Из Москвы, товарищ капитан.

– Здорово! Земляки, значит! Где жили?

– На Таганке, товарищ капитан, а вы?

Один из братьев улыбнулся детской, чистой улыбкой, и другой улыбнулся тоже, словно в зеркале отразилось.

– Я? В Сокольниках! Ну, как же мне различать вас, братцы? Ваша фамилия?

– Берёзкины, товарищ капитан. А в батарее нас различают по именам: сержант Николай Берёзкин и сержант Андрей Берёзкин. Это только сейчас так. Вы к нам привыкнете. Будете различать.

Ермаков засмеялся.

– Черт его знает, первый раз на войне встречаюсь с близнецами! – И, перегнувшись с седла, спросил: – Вы мне вот что скажите, Берёзкины, состав расчетов из пополнения?

– Так точно, товарищ капитан. Из Сумской области.

– В боях были? Или прямо к Днепру от печек?

– Никак нет, были в одном бою. Ничего. Конечно, не совсем.

– Ладно, проверю! По местам, Берёзкины!

Спуская коня по покато́й дороге в долину, к орудиям, он услышал свежий голос лейтенанта Прошина. Лейтенант шел возбужденный, невесомо ставя ноги в хромовых сапожках, сияя навстречу улыбкой Борису, как давнему знакомому.

– Что, отдых, товарищ капитан?

– Какой отдых? – ответил Ермаков, с внезапной неприязнью увидев на молодом, веселом лице Прошина тонкие светлые усыки. («Подражает Ананяну, что ли?») – Отдых будет на том свете, поняли? А усы зачем, усы?..

И, чувствуя, что сказал грубо, оскорбляюще, он нисколько не осудил себя за это, хлестнул лошадь, проскакал мимо обиженно покрасневшего Прошина, мимо солдат и орудий, мимо потных, поведивших боками упряжек. Он многое видел на войне и чувствовал за собой право так говорить с людьми, потому что презирал «сантименты» и больше других знал цену опасности.

– Рысью ма-арш!

В лесную деревушку Золотушино, расположенную в километре от Днепра, прибыли на ранней заре: над лесами чисто и розово пылало небо, и, подожженные холодным пламенем, горели стволы сосен, светились влажные палые листья на земле, над крышами домов краснели редкие дымки. В деревне было по-раннему тихо; кое-где во дворах темнели повозки; дымила на окраине одинокая кухня, и сонный повар, гремя черпаком, возился возле котла. Еще издали Ермаков увидел на околице Витьковского. Он был без пилотки, белокурый, грыз семечки, сплевывал шелуху небрежно на шинель, посмеиваясь, переговаривался с поваром. Когда орудийные упряжки вырвались из розового лесного тумана, Жорка стряхнул прилипшую к шинели шелуху и, подкинув запотевший от росы немецкий автомат на плечо, вышел на дорогу.

– В порядке? – быстро спросил Ермаков, не слезая и сдерживая разгоряченную лошадь. – Батальон Бульбанюка здесь? Людей из батареи привел? Вижу, привел!

А Жорка светло, невинно смотрел голубыми глазами в лицо капитана.

– Привел одного Скляра. Остальные – тю-тю! С Кондратьевым на ту сторону поплыли. Скляр говорит: немцы на всю катушку огонь вели, а они в это время...

– Совсем досадно! – проговорил Ермаков. – Где Бульбанюк? Показывай, в какой хате штаб.

– А пятый дом направо.

... Через несколько минут, отдав приказание лейтенанту Прошину разместить людей, он вошел в штаб батальона. Из комнаты повеяло теплом огня: тут топилась печь. Оранжевые блики играли на грязной ситцевой занавеске. Перед занавеской, в первой половине, прямо на полу, в соломе, храпел в воротник шинели обросший солдат, у изголовья на гвозде висели три автомата. Ермаков перешагнул через спящего, отдернул занавеску. На высокой кровати лежал начальник штаба батальона старший лейтенант Орлов, в галифе, но без гимнастерки и босой. Злое, цыганского вида лицо его с тонкими черными бровями было повязано пуховым платком. Он втягивал сквозь сжатые зубы воздух, пальцы на ногах беспокойно шевелились. На табуретке, на развернутой карте, стояла недопитая бутылка мутного самогона, жестяная кружка, рядом – нетронутый кусок черного хлеба; планшетка валялась на полу подле грязных сапог.

– Ах, сволочь! Ах, стерва! – стонал Орлов, непонимающе глядя в потолок, прикладывая кулак к платку. – Чтоб тебя разорвало, собачья душа! Что ты возишься? Что возишься, как жук навозный? – закричал он, упираясь глазами в худую, робко пригнутую спину радиста, который сидел с наушниками около радиции. – Что ты мне ромашками голову морочишь? Давай связь! Связь!

– «Ромашка», «Ромашка», плохо тебя слышу, плохо слышу... совсем не слышу... – речитативом выборматывал радист.

Ермаков усмехнулся.

– Зубы, Орлов?

– Зубы, стервы! Как назло! – простонал Орлов, потянулся к бутылке, налил в кружку остаток самогона, пополоскал зубы, скривился пополневшей щекой, занюхал корочкой хлеба. – И это не помогает! Ни хрена! – Он со злобой затолкал бутылку под кровать, спросил криливо: – Орудия привел? Два? Что не докладываешь?

– Привел. Два. Где Бульбанюк?

– На плотях. В лесу плоты к ночи сооружают. Выделяй своих людей на плоты. Давай, капитан! Ну? Ну? Чего? – закричал он радисту, заметив, что тот полувопросительно обернулся от радиции. – Чего молчишь, как умный? Говори!

– «Ромашка» сообщила: пришли на место.

– Ах, пришли! Пришли, дьяволы! – закричал Орлов, крепко выругался, и пальцы на ногах зашевелились быстрее. – Ну, Максимов на место пришел! – И другим тоном обратился к Ермакову: – Один солдат рассказывал: в Сибири у них у таежника зуб заболел. Дупло. Врачи за тысячу километров. А терпелу нет. Что он сделал? Достал огромный гвоздь, вбил в дупло и, благословясь, рванул. Начисто выдернул. И никаких йодов. Может, так сделать? Один выход. М-м, душу выматывает! – Он слегка ударил себя кулаком по скуле, зло прокричал радисту: – Связь, связь держать! Связь!

– Шумишь, Орлов! На улице слышно. Значит, связь есть?

Вошел майор Бульбанюк, на шинели, на погонах – капли, к козырьку фуражки прилип влажный осиновый лист, рыжие стоптанные сапоги сплошь в росе – осень в лесу. Молча разделся, догадливо-опытными глазами окинул Ермакова, поднял с пола планшетку, положил к ногам Орлова, пальцы его мигом перестали шевелиться.

Орлов сказал:

– Максимов на месте. Артиллеристы, как видишь, прибыли.

– Так. Твои орудия я видел, – заговорил густым голосом Бульбанюк, почесал широкий нос на крепком бронзовом лице, тронутом оспинками. – Так, Днепр форсируем ночью. Днем ни одной душе на берегу не показываться. И в деревне – тоже. За невыполнение приказа – под суд. – Он сказал это спокойным, размеренным голосом, подумал и прибавил: – Вот так.

– Как на том берегу, майор? Тихо? – спросил Ермаков, хорошо зная осторожность Бульбанюка.

– Тишине верить – знаешь, капитан? – все равно что интересным местом на муравейник садиться, – сказал Бульбанюк. – Они тоже не дурачки. Не попки. Соображают кое-что.

Взял кружку с табуретки, понюхал, неодобрительно уставился на Орлова, тот, в свою очередь, виновато скосил нестерпимо зеленые глаза на занавеску, за которой храпел его ординарец.

– Серегин виноват? – недоверчиво спросил Бульбанюк. – Врешь. Сегодня водки в рот не брать. Людей пропьем. Увижу – под суд отдам. Люблю тебя, а меня знаешь. Ясно?

– Подлюги зубы, майор, – проговорил Орлов, теперь уже косясь на радиста. – Замучили.

– У всех зубы. Не зубы заливаешь, а вот это. – Бульбанюк показал на сердце. – А ты это брось! Ясно? Вот так. После дела будем пьянствовать. Фланги, фланги – вот где загвоздка. Дай-ка что-нибудь пожевать. Только без Серегина, ясно? Пусть спит...

Орлов опять томительно посмотрел на занавеску, опустил ноги с кровати, нехотя сказал:

– Что-нибудь соорудим...

– Насчет плотов поможем тебе, Ермаков, – проговорил раздумчиво Бульбанюк. – Дам людей.

Выйдя из штаба, Ермаков испытывал желание не углублять того, что неясно было ни ему, ни Бульбанюку, ни Орлову. Он знал их обоих. Орлов, вспыльчивый, несдержанный, был известен в полку тем, что ежеминутно, пополам с матерщиной, разносил правых и неправых, открыто презирал разноранговых штабистов и, будучи сам начальником штаба, не раз, злой и азартный, с пистолетом в руке появлялся среди залегших рот, водил в атаку батальон, чего вовсе не делал Бульбанюк. Бульбанюк без артиллерийского огня в атаку не шел, кочку не считал укрытием, закапывал роты на полный профиль в землю; перед боем ходил по траншеям, деловито, как вспаханную землю, шупал брустверы¹⁸; приседая, подозрительно поворачивая голову и так и сяк, подолгу уточнял ориентиры: было в этом что-то сугубо крестьянское, добротное, будто в поле к севу готовился, а не к бою. Артиллеристов он любил особо постоянной, нежной любовью, как это часто бывает у многоопытных, давно воевавших пехотных офицеров. Однако Ермакову больше нравился своей горячей бесшабашностью старший лейтенант Орлов, чем излишне осмотрительный, расчетливый Бульбанюк, хотя в глубине души он готов был понять вечную и неоспоримую на войне правоту майора.

Заря разгоралась над лесами, пожаром пылала в гуще деревьев, красные полосы этажами сквозили между слоями тумана, и деревья, крыши, вся деревушка, казалось, дымились в огне, сдавленном лесом.

Орудия стояли во дворе под облетевшими осинами; солдаты с помятыми, осовелыми лицами, точно в дремоте, маскировали щиты, станины; сержанты Берёзкины, сняв чехлы, протирали панорамы¹⁹.

Лейтенант Прошин с веселой удалью отсекал топором ветви от срубленной, лежавшей на земле ели. А Жорка, невозмутимый, по-прежнему лениво лузгал тыквенные семечки и, простодушно посмеиваясь, советовал:

– Легче, легче. По усам попадете, товарищ лейтенант. Ей-богу, так и отчищаете.

Ермаков крикнул ему:

– Витьковский, остроты и семечки прекратить! – И потом более строго обратился к Прошину: – Почему разрешаете черт знает что? Вы – офицер!

¹⁸ *Бруствер* – небольшая земляная насыпь с наружной стороны окопа, траншеи и т. п. для защиты от огня противника, укрытия и удобства при стрельбе.

¹⁹ *Панорама* – оптический угломерный прибор для увеличения точности наводки оружия.

Прошин, раскрасневшийся, со сбитым ремнем, неловко держал топор; в изгибе бровей – обида.

– Я уже четыре месяца офицер, товарищ капитан.

– Тем хуже для вас!

Почему не лежала у него душа к этому очень молодому лейтенанту со светлыми усиками? Силы и уверенности не чувствовалось, что ли, в нем? Или потому, что не любил людей, которые подражали другим?

Солдаты и сержанты Берёзкины смотрели на них от орудий, выжидая молчали.

– К бою! – внезапно скомандовал Ермаков. – Танки справа!

Лейтенант Прошин отбросил топор, поспешно сделал шаг вперед, огляделся по сторонам и бросился к орудиям, заплетаясь ногами в длинной шинели.

– К бою! – крикнул он, и голос его странно сорвался.

– К бою-у! – эхом запели сержанты Берёзкины.

Тотчас все изменилось возле орудий; солдаты засуетились, полетела маскировка, раздвинулись станины, дрогнули и опустились стволы; кто-то упал, зацепившись ногой за лафет, донесся доклад командиров орудий:

– Готово!

– Отбой! Прошин, ко мне!

Быстро подошел, почти подбежал Прошин, губы его обиженно дрожали, серые глаза блестя влагой, он прошептал:

– Не доверяете? Да? Вы... зачем... так... издеваетесь?

– Бросьте сантименты, Прошин, – спокойно оборвал его Ермаков. – Оставьте обиды для любовной аллеи городского парка. Ну? Успокоились? Трех человек от расчета на постройку плотов. Остальным спать. Отдайте распоряжение – и ко мне в хату. Жорка, веди в дом!

Глава шестая

Он уснул, будто упал в мутную теплую воду и она поглотила его. Не было сновидений, не было даже обрывочных мыслей, отблесков чего-то недоделанного, нерешенного, как бывает всегда после бессонной ночи. Один раз неясная сила беспокойно вытолкнула его из сна. Он приоткрыл глаза: яркое солнце заливало неправдоподобно чистенькую хату, потолок сиял невинно-белый, на стене уютно поскрипывали старые ходики: тик-так, тик-так. Чистота, покой, тепло – спать, только спать... А где-то рядом, в высоте, посреди этой светоносной счастливой белизны – тихое урчание мотора, и до шепота пониженный голос Жорки проговорил за спиной:

– «Рама»²⁰. Над деревней вертится. Вон, смотрите, на крыло повернулась, высматривает.

Теперь жди – через полчаса приведет косяк.

И голос Прошина – еле слышно:

– Вернее всего, не заметит. Ни одного человека на улице. А вообще – дать бы по ней из ПТР²¹. Залпами.

– Ерунда. Она бронированная.

– Спать всем, – негромко сказал Ермаков и, не поворачиваясь от стены, нагретой, неестественно белой, закрыл глаза.

И снова сон теплой волной подхватил его, а в сознании еще навязчиво и успокоенно, бесформенной легкой тенью мелькала мысль: «Чистота, чистота. Значит, опять я в госпитале? Почему я в госпитале?» Но скоро, уже каким-то необъяснимым чувством, он уловил настороженное движение в хате, топот шагов, шелестящий шепот, чей-то знакомый голос позвал его, и он очнулся ото сна – эта привычка мгновенно просыпаться не покидала его даже в госпитале.

Он сел на кровати, неотдохнувшая голова немного болела. В дымно-лиловых полосах предзакатного солнца увидел одетых в шинели Жорку и лейтенанта Прошина, рядом с ними топтался связной Скляр; автомат на груди, тяжелые диски в чехлах оттягивали ремень, и все на нем сбито, мешковато – долго бежал, видимо.

– В чем дело? – спросил Ермаков.

Скляр шаром подкатился к кровати, по старой привычке ординарца подавая фуражку, затем, придвинув к постели сапоги, возбужденно заговорил:

– Срочно, срочно вас... экстренно к командиру батальона. Только есть «но». Я проведу вас огородами. «Рама» летает.

Жорка снисходительно-насмешливо, но и ревниво смотрел на Склера, потом, сказав «извиняюсь», легонько, небрежно оттолкнул его, сам подал Ермакову шинель. Одеваясь, тот увидел усмешку на лице Прошина («Два ординарца вокруг одного офицера возьтятся!») и сказал резким голосом:

– Пойдемте со мной!

– Слушаюсь, товарищ капитан.

– Что?

– Я говорю, слушаюсь.

– Собирайтесь. Поменьше ненужных интонаций, Прошин!

Лейтенант пунцово покраснел, и Ермаков, чувствуя непонятное для себя раздражение, заметил, что ресницы у него, как у девушки, длинные, темные, загнутые вверх.

– Пошли, – повторил он.

²⁰ «Рама» – у советских солдат в годы Великой Отечественной войны разговорное название немецкого тактического разведывательного самолета «фокке-вульф» (Focke-Wulf Fw-189), полученное из-за его двухбалочной конструкции планёра.

²¹ ПТР – противотанковое ружье.

Вышли на крыльцо. В закатном небе над золотистыми соснами, над безлюдной деревней тихо урчала «рама». В осенней выси, там, где мирно алыми перьями таяли предвечерние облака, она ныряла, сверкая стеклами кабины, словно купаясь в воздухе, – далекая, опасная, чужая.

– Целый день торчит над головой, бродяга, – проговорил Жорка.

Ермаков мельком посмотрел на небо, не без едкости сказал Прошину:

– Вы, кажется, хотели стрелять по ней из противотанкового ружья? А вы ахните из пистолета. Упадет, как перепел. – И скомандовал Склею: – Веди в штаб, быстро!

Ни майора Бульбанюка, ни старшего лейтенанта Орлова в штабе не застали – здесь был один радист; оторвавшись от рации, он деловито сообщил:

– На Днепре все.

Обоих нашли в лесу, вплотную подступавшем к воде, в свежем, недавно вырытом песчаном окопе. Бульбанюк наблюдал в бинокль правый берег. Орлов, с опухшей щекой, повязанной бинтом, шепотом ругался, курил, задерживая дым во рту, и сплевывал. Тут же ожидали приказаний ротные связисты, и среди них были заметны знакомый полковой разведчик с расстегнутой лакированной кобурой парабеллума на левом боку, в яловых офицерских сапогах, и командир минометного взвода – небритый молчаливый лейтенант в очках. Разведчик, показывая на другой берег, простуженно басил Бульбанюку:

– Левее, левее... Вон где боевое охранение у фрицев...

– Вызывал, Бульбанюк?

Они спрыгнули в окоп.

– Вызывал, Ермаков. Немедленно вызывал. – Бульбанюк опустил бинокль, глубокие морщины прорезались на лбу; он озабоченно глянул вверх: – Слышал?

– Слышал.

Бульбанюк раздумчиво почесал биноклем подбородок.

– Не нравится мне. Очень не нравится. Второй раз кружит. Вот что. Я людей из деревни в лес вывел. Всех. И минометчики здесь. Как улетит эта штучка, ты орудия свои сюда давай. Немедленно. Ясно? Теперь смотри сюда. Нет, подожди. Сперва отдай приказание. Это кто? Твой командир взвода?

Прошин по-уставному поднес руку к виску, задел локтем за широкую спину разведчика и сконфуженно заулыбался ему. Разведчик, чуть сторонясь, басовито хохотнул:

– Эй, эй, убьешь, лейтенант! Ровно танк двинул!

– Приведите орудия сюда, – недовольным голосом приказал Ермаков. – Быстро, Прошин!

Тот мгновенно выскочил из окопа, и Бульбанюк, проводив его узкими догадливыми глазами, помолчал некоторое время.

– Экий у тебя усач гусар, сизые перья! Дров не наломает? Ничего? Не из пеленок? Ладно. Гляди в свой шикарный бинокль. Осмотри весь берег. А потом поразмышляем. Одна голова хороша, две – хуже.

Вся печальная и тихая на закате водяная даль Днепра отсвечивала темно-розовым в увеличенном приближении бинокля: вот она, в пяти шагах, эта вода. И тоскою, странной, глухой, повеяло от лесов, потемневших на том берегу перед вечером. Был высок тот берег Днепра, а в межлесье прорезала полосу зари огромная высота, чистая, без кустов и деревьев. Там, на этой высоте, спиной к западу, отчетливым силуэтом, раздвинув ноги, стоял высокий немец, рядом сидели двое, прозрачные дымки сигарет таяли над их головами.

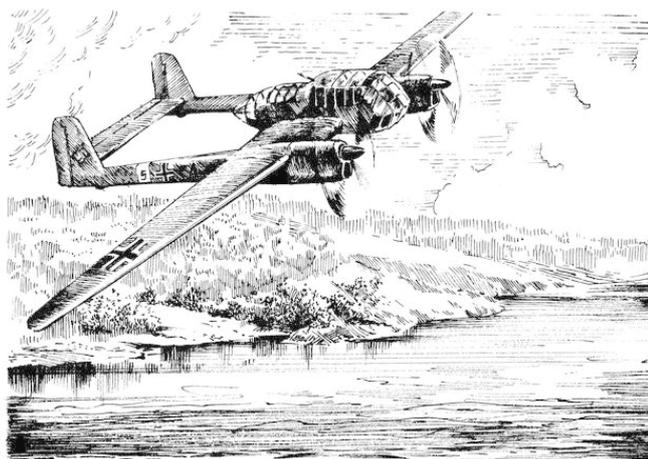
– Смазать бы их из винтовки, стервецов! – услышал Ермаков горячий шепот Орлова. – Уж больно ясно видны!

«Рама», неровно гудевшая над лесами, показалась в высоте над Днепром и, вдруг снизившись, с ревом пронеслась над самыми вершинами сосен, над нашим берегом, ушла, врезаясь в закат, и немец на голой высоте прощально пилоткой ей помахал. Теперь стало очень

тихо, по-вечернему тихо и пустынно. Было слышно, как листья в безветренном лесном покое отрывались, скользили между ветвей, падали на песчаный бруствер окопа.

– Вот так, – наконец сказал Бульбанюк. – Орудия поставишь здесь. И высотку эту на заметку возьми. Там что-то есть. В крайнем случае огнем накроешь. А орудия будешь переправлять последними. После рот. Вот так. Где ж этот твой усач гусар? Чего мешкает? Прилетят, это уж ясно.

– Должен успеть, – ответил Ермаков.



Говорили, что у Бульбанюка есть чутье, и, наверное, это было так. В восьмом часу вечера, ровно через двадцать минут после того, как Прошин привел орудия на берег, в темном, сплошь вызвездившемся небе послышался булькающий гул, и на той стороне с ясно слышными хлопками взлетели близкие ракеты, выгнулись тревожными дугами до середины Днепра. Ракеты взмывали и над той высотой, где стоял давеча немец, и над самой кромкой берега, и из глубины леса справа и слева.

– Запомнить все. Стрелять будем, – сказал Ермаков.

Он сидел вместе с Прошиным и братьями Берёзкиными на бруствере опустевшего батальонного окопа; Бульбанюк, офицеры и связисты были сейчас под бугром, в кустах около воды, куда солдаты, разговаривая сдержанными голосами, перетаскивали плоты из чащи – батальон готовился.

Гул невидимых самолетов накаленно дрожал над головами, и бледно в померкшем небе распустились, разбрызгивая свет, и поплыли над лесами первые «фонари». Под Прошиным зашуршал, посыпался песок, и коленка его задела ногу Ермакова.

– Сейчас будут, – прошептал лейтенант, сползая по брустверу, но, опомнясь, снова сел на краю окопа, стесненно улыбнулся. – Не люблю я бомбежку...

Братья Берёзкины часто задышали; Жорка с интересом смотрел в небо, вроде бы настроенный к занимательной и опасной игре.

– Всем в окоп! – приказал Ермаков.

И тотчас из звездных высот неосвещенного неба понесся к земле остро пронизывающий звук. Бомбы ударились в землю, толкнули ее, песчаный окопчик, осыпаясь, дернулся, затрясся под ногами, как живое тело.

– Деревню накрывают, – сказал Жорка хрипло.

Потом наступила тишина, последний «фонарь» устало догорел в лесах, багровое зарево в чаще – там, где бомбили Золотушино, – буйно боролось с темнотой, а тот берег, черный, затаенный, мертво молчал. Слабо, облегченно засмеялись в окопе, – кажется, Прошин, – и,

невольно вспомнив радиста, оставшегося в штабе батальона, Ермаков первым вылез из окопа; сквозь звон в ушах услышал он шорох осыпавшегося песка под чьими-то ногами – от берега бежал к орудиям человек, затем голос Скляра раздался из потемок:

– Товарищ капитан! Бульбанюк пошел! Сразу после бомбежки. Первая и вторая рота... Вам поддерживать!..

«Бульбанюк начал переправу? Он хочет выиграть время? Да, все должно свершиться сейчас».

– К орудиям, – скомандовал Ермаков вполголоса.

– А мне как же?.. – растерянно и просительно вскрикивал Скляр. – Куда мне, товарищ капитан?

– К Бульбанюку, голубчик, связным! Ни шагу от него. К нему!

И он не видел, как исчез под обрывом берега Скляр, не до него теперь было.

Ермаков стоял между первым и вторым орудиями (а там ни звука, словно дыхание у всех замерло), и в черноте ночи, слившейся без границ воду и небо, он улавливал тихие всплески отплывающих от надежной земли плотов, и вся тьма казалась живой, дышащей. Прошин шепотом сказал рядом: «Это наши... плывут», – и Жорка Витьковский едва слышно отозвался из темноты: «Вот бродяги!» – и кто-то сдавленно кашлянул, поперхнулся возле орудий. Все, что жило и шепотом разговаривало на левом берегу, напрягалось в нервном усилии увидеть, что сейчас было на воде, все это уже как бы не существовало, а было одно горячее, азартное, что захлестывало Ермакова всего: зацепиться в тишине за берег, подтянуть роты к лесу, атаковать высоту, взять ее...

И вдруг тишина оглушительно взорвалась и осветилась. Торопливо взлетая, ракеты смешались, змеисто извиваясь в небе и в воде. Все замерцало: свет – потемки, свет – потемки... Лихорадочно красными мотыльками забились вспышки на том берегу. Вперекрест запульсировали струи трасс, отвесно хлестнули по воде сверху. Свет – потемки, свет – потемки... В огнях ракет появилась река, рассыпанные плоты по быстрине, смутные фигурки людей. Свет – потемки, свет – потемки.

Тот берег ожил, загремел, зашевелился, тени деревьев то стремительно падали в Днепр, то разгонялись светом; пулеметные очереди мелькали вокруг плотов, вонзаясь в воду, на плотках разом беспорядочно задрожали всплески автоматов, и встречные трассы малиновым вее-ром махнули по тому берегу; и гулко и сухо забили винтовки. Плотно покрывая эти звуки, с тяжким звоном распустились на середине реки мины. И следом за ними, туго сбрасывая высоту, сочно лопнул над Днепром бризантный²², тяжело зашлепали осколки по воде, по песку, по стволам деревьев. Наполз едкий запах тола²³.

– Огонь без команды по точкам! – крикнул Ермаков. – Ну-ка, Вороной, я начну! Нашу-пали высотку?

Шагнув за станину, он стиснул каменное от напряжения плечо наводчика Вороного, с трудом отстранил его, пальцы охватили подъемный и поворотный механизмы, прицел, крупно приближая вспышки, выделил из тьмы ту точку, где на высоте рождались трассы, и Ермаков вспомнил немца, что на закате курил там, прочно расставив ноги.

Короткое рваное пламя вырвалось в темноту, оглушив и обдав горячим воздухом до боли в ушах, – орудие резко откатилось, заскрипел песок под брусьями.

Борис заметил, как снаряд плеснул разрывом ниже и вбок от этой точки, где пульсировали трассы, на привычную ошупь увеличил прицел, и почти одновременно с его выстрелами справа выбросил в небо огонь минометный взвод, а ближе слепяще мигнуло пламенем орудие Прошина, оттуда жарко и колюче ударило в щеку жухлыми листьями, сухой хвоей.

²² *Бризантный*. – Имеется в виду разрывной артиллерийский снаряд, то есть поражающий осколками.

²³ *Тол* (тротил, тринитротолуол) – органическое кристаллическое соединение, взрывчатое вещество.

Толчок панорамы. Доворот. Пальцы сжались на рукоятках механизмов. Снаряды развернулись кострами на высоте, погасли, и вместе с ними погасли на высоте вспышки. Он ждал несколько секунд, а в панораму лез свет ракет, трассы спутанно огненными пунктирами летели в разные стороны. И снова в панораме упорно и живуче заплескалось пламя на высоте. «Крепок этот немец», – подумал Ермаков.

– Четыре снаряда, беглый огонь!

Опять костры возникли на высоте. Чтобы лучше разглядеть их, он встал за щитом орудия и только тогда увидел, что все отчетливо и ярко иллюминировано ракетами. Явственно различимые плоты сносило течением, вокруг них бегло рвались мины, первый из плотов ткнулся в правый берег; другой, отстав, беспомощно кружил посередине Днепра – плот, очевидно, потерял управление, и частые всплески мин накрывали его.

– Четыре снаряда, беглый огонь!..

На высоте замолчал пулемет, и Ермаков видел спешащие разрывы прошинского орудия на другом берегу, искал глазами новые опорные точки, но там смешалось все: трассы, трескотня автоматов, вспышки ракет. Эти вспышки, свет ракет, удары артиллерийской стрельбы теперь возникли справа – севернее начал переправу батальон Максимова, но Ермаков не смотрел туда.

Два первых плота пристали к берегу, сгорбленные фигурки запрыгали косыми тенями, заячьими скачками побежали по обрыву, вставшему стеной лесу.

Сносимые течением плоты наискосок подгребали к правобережью, и с них непрерывно кричали что-то, вероятно, в сторону того плота, что кружил безвольно на быстрине. Столбы воды вплотную вырастали один за другим, донесся слабый, неразборчивый вопль, потом на этом плоту дыбом поднялись бревна – и люди, повозки, метнувшиеся лошади отвесно скатились в воду с одного бока. Визгливое предсмертное ржание лошадей прорезалось сквозь свист мин.

– Накрыло! Чего ж они, а? – досадливо сказал Жорка.

Ермаков понимал, что его орудия бессильны достать минометную батарею на том берегу, и все же скомандовал выпустить беглым огнем восемь снарядов в направлении мерцающих над лесом зарниц, после крикнул возбужденно:

– Передки на батарею! Жорка, лошадей!

Было ясно: Бульбанюк зацепился за берег, завязал бой. Но странно было то, что ракеты уже не поднимались, не дрожали зарницы над лесом – на правый берег круто упала темнота. И в этой тьме постепенно смолкало разрозненное шитье автоматов.

Переправа была спокойной, без единого выстрела, только раз шальной, заблудившийся снаряд запоздало ухнул на середине Днепра.

Правый берег встретил густой теменью, нерассеянными запахами недавнего боя: горьковатой вонью еще теплых гильз, порохом, смешанным с сырой гнилью осеннего леса.

Черный, глухой, враждебно затаенный, он возвышался угрюмой стеной до самых звезд; в чаще его где-то отдаленно простучала очередь и затихла.

Сгружали орудия безмолвно, одни ездовые осипшими от волнения голосами понукали лошадей, в поводу сводили их на берег.

Ермаков сел на песчаный навал какого-то окопа, прикрыв полбóй шинели зажигалку, устало прикурил. Из окопа тянуло удушливым запахом подпаленной шерсти, он пошарил рукой, нащупал на песке кучу холодеющих гильз, сбоку колючую металлическую ленту и дернул ее – твердое, круглое ударило по колену. Это был немецкий ручной пулемет МГ, он узнал его по дырчатому кожуху.

С хмурым и чуть брезгливым любопытством к чужой жизни, которая представляется всегда иной, он осветил зажигалкой, и первое, что увидел в глубине окопчика, – сливочно-белую склоненную шею, заросшую белесыми, зябко оттопыренными волосами. Узкая пилотка-пиро-

жок была надвинута на залитый кровью лоб убитого: должно быть, в последний миг сознания немец зажал рану пилоткой, будто с отчаянной предсмертной мольбой уткнув голову в острые колени. «До последнего сидел», – подумал Ермаков, внезапно испытывая брезгливую жалость к этим оттопыренным белесым волосам, к этим острым коленям убитого немецкого пулеметчика. Встал, бросил окурки, крикнул в темноту, где, тихо переговариваясь, возились близ оружейных упряжек люди:

– Скоро там?

– Вы кого здесь смотрели-то, товарищ капитан? – подходя, спросил Жорка. – Бродяга, что ли, убитый?

– Возьми МГ и ленты. Здесь, в окопе. Погрузишь на передок.

– Сделаем, – сказал Жорка охотно.

Справа в лесу послышались голоса: вдоль опушки к берегу шли несколько человек. Кто-то, возбужденный боем, говорил с непонятным, отчаянным весельем:

– Как он ахнет, как ахнет промеж плота! Лошади, повозки – в воду! Сержант кричит: «Вплывь, в плывь давай!» Глянул, а у него лицо в крови, живот почему-то руками держит. Отошел так по бревнышкам и спиной в воду упал! Молодой был. Эх, молодой!..

А другой голос ответил слабым криком:

– Артиллеристы? Кто тут? Артиллеристы?

– Они самые, – отозвались из тьмы.

– Капитана Ермакова...

– Скляр? – окликнул Ермаков. – Ты откуда?

Темным колом подкатилась к нему круглая фигура связного.

– От Бульбанюка. За вами прислал. Все вперед пошли... Что ты точки было, товарищ капитан! – заговорил Скляр поспешно и тоже отчего-то весело. – Восемь человек ранило. Орлов впереди с первой ротой. Зубы у него. А как на берег спрыгнули – повязку как рванет: «Ни разу в бой не ходил с повязанной мордой!» Пистолет выхватил: «Вперед, ребята! Всем медали будут, никого не забуду!» – Скляр захлебнулся смешком. – Вам приказано: скорей! Там, на бугре, дорога, немцы драпанули!

– А это кто с тобой?

– Санитары. Раненых переправлять.

– Прошин! Скоро там? По местам!

Как только орудия вывели по бугру на сжатую лесом дорогу, Ермаков подал команду:

– Быстрым шагом, расчетам не садиться! – и вскочил на передок первого орудия Прошина, который отчужденно, молча отодвинулся, но, вроде бы не заметив неприязни, Ермаков полез за табакком, спросил спокойно: – Курите, нет?

– Я не понимаю вас, товарищ капитан, – заговорил Прошин с нотками возмущения в голосе. – Вам, наверно, не жалко людей. Мы не ваша батарея. Поэтому... почему солдат не посадить на станины? Люди по-глупому бегут за орудием... Я слезу.

Он вынес ногу на ступеньку, однако Ермаков властно взял его за локоть, посадил на место.

– Прошин, вы стихи никогда не писали?

– Нет.

– Так вот. Всю войну мне пришлось воевать рядом с пехотой. Вам ничего это не говорит?

– Нет.

– Это наверняка ваше любимое слово, – Ермаков усмехнулся, – два раза подряд «нет».

Хуже не бывает сонного пехотинца. А мы с вами сейчас почти пехотинцы. У вас никто не дремал на станинах, не падал ночью под колеса орудия?

– Нет.

Ермаков рассмеялся.

- Вы мне временами нравитесь своим упрямством, Прошин.
 - А вы мне, а вы... нет, товарищ капитан.
 - Вот спасибо. Благодарю за откровенность. Это уже мужской разговор.
- Подрысил Жорка, притер лошадь вплотную к передку, поинтересовался вкрадчиво:
- Товарищ капитан, часы как у вас – точно ходят?
 - А что?
 - Часики ручные в окопе нашел. Лежат и идут себе. Вот посмотрите, фрицевские.

Жорка перегнулся в седле, протянул нагретые в ладони часы на металлической браслетке, круглые, сверкнувшие фосфорическим циферблатом. И Ермаков, вспомнив сливочно-белую склоненную шею, острые, прижатые к груди колени убитого в окопе немца, спросил почти равнодушно:

- Часы у вас есть, Прошин?
- Нет и не надо.
- Не бойтесь. Думаете, возьмете вещь убитого – убьет самого? Так?
- Может быть.
- Мертвецы не самое страшное на войне. Страшно другое... – сказал Ермаков.

Впереди, в глубине леса, прошел тишину тонкий стрекот автоматной очереди, оборвался, и где-то справа ответил ему отдаленный бой пулеметов; Прошин, как бы не обращая внимания на выстрелы, спросил:

- Что самое страшное?
- Договорим когда-нибудь. За стаканом водки. К сожалению, нам мешают, – ответил Ермаков. – Жорка, возьми часы. Подари наводчику Вороному. Ручищи у него крепкие! И гамлетизм ему несвойствен. Давай коня!

Ермаков поскакал вперед по безлюдной, чудилось, дороге среди леса, пришпоривая лошадь, теперь все время слыша справа за лесом отдаленный бой пулеметов.

- Вдруг из темноты закричали приглушенно:
- Стой! Кто такие? Куда леший несет?
- И кто-то даже схватил за повод, выругавшись.
- Артиллеристы. Какая рота? Где комбат?
 - Впереди...

Ермаков направил лошадь к обочине, впритирку к кустам, стал обгонять скрипевшие повозки хоззвода, повозки минометчиков, рассеянную, далеко растянувшуюся колонну, – его то и дело негромко окликали, – и наконец выбрался на свободную дорогу и скоро нагнал нескольких всадников, в середине которых ехали Бульбанюк и Орлов.

- Какая обстановка, майор?
- Вот мозгуем над обстановкой, – ответил Бульбанюк густым голосом. – Ты кстати. Давай присоединяйся. Одна голова хорошо... Вот так. Справа, слышишь, пулеметики? Слышишь? Это Максимов. Слева тоже автоматика легонько разговаривают. Но так себе, слабо. Ну так вот. Похоже, глубоко в тыл к немцам едем. Оборона тут слабенькая, с разрывом была. Вот так проясняется. Ну, нам бой давать надо в районе Ново-Михайловки. А какой пес знает, тихо ли до нее дойдем? Ну? Как же? Может, рванем вправо через лес да и ударим по флангу? Вот так. Ну, давай размышляй. Тут короче будет.

Майор замолчал, обратил белеющее лицо к Ермакову, и тогда Орлов, с нетерпением ерзавший в седле, сплюнул, поцыкал большим зубом, заговорил не без раздражения:

– Оборону прорвали? Прорвали! Людей положили? Положили! Немцы не понимают сейчас, сколько нас, куда двигаемся и зачем. Пока они в себя не пришли, надо в тылу у них бой завязывать – в Ново-Михайловке или еще глубже... Только так создадим впечатление серьезного прорыва. Так я понял приказ, Бульбанюк? А назад по лесам мы всегда выйдем к Днепру. А если наши с фронта двинут, то и выходить не придется... Соединимся.

– Н-да! Золотая твоя ухарская голова, – неопределенно, но, казалось, слегка осуждающе проговорил Бульбанюк. – А ты как думаешь-размышляешь, капитан?

– Думаю, Орлов прав. Чем дальше в лес, тем больше дров, – ответил Ермаков полусерьезно. – Если же идти к флангу напрямик, вряд ли пройдем без дороги с орудиями.

– Н-да! – произнес Бульбанюк и долго не отвечал, покачиваясь в седле, точно заснул; потом выговорил тихо: – Ну, вроде поразмышляли. Вперед идем... Вот так. Вперед. – И, выпрямляясь, осторожно подал команду: – Под-тя-ни-ись, братцы!

– Подтянись! – прошелестело по колонне.

Глава седьмая

Приняв решение, Бульбанюк время от времени задерживал колонну, поджидал разведчиков. Связной от разведки коротко докладывал, что впереди пока спокойно; офицеры сдержанными голосами отдавали команды, подтягивали роты, и батальон опять двигался по узкой дороге, сжатой непроницаемой тьмой леса. Старший лейтенант Орлов, то объезжая роты, то вновь присоединяясь к голове батальона, забыв про зубы, развеселился, курил в рукав, вместе с запахом дыма тянуло от него сладковатым душком самогона.

– Знаешь, капитан, – говорил он шепотом, – Бульбанюк-то у нас странный тип. В санитарях – ни одной женщины. Были две – усрал в полк, твердо убежден, что женщины мешают воевать! Говорят, у тебя, капитан, хорошенькая пепеже²⁴ в батарее? Слухи верны?

– Если верить слухам, то ты пьяница, бабник и вообще пропащий человек, – сказал Ермаков. – Верить?

– Врут, стервецы! – проговорил зло Орлов и сплюнул. – Вот языки! Пропащий человек! Верно, войну я начал капитаном. Потом на Северо-Западном – плен, два побега и всякая штука. В Сталинграде воевал солдатом. Котельников брал лейтенантом. А Сумы – старшим лейтенантом. Ну а Берлин – полковником, пожалуй? – Он рассмеялся. – Земля крутанулась для меня в обратную сторону. Неясно, наверно?

– Почти ясно. Но не совсем.

– Полюбилась мне на Северо-Западном фронте одна девчушка. Была в моем батальоне... Девочка совсем. Санинструктор, Верочка. Из Ленинграда. Ну и вышла, понимаешь, неприятная история с одним адъютантом. Терпеть его не мог. Карьерист из молодых, с тепленькими глазами. Приезжает он как-то с приказом взять Верочку в дивизию... Та в слезы. А я сгоряча выскочил из землянки с ТТ²⁵. Выпустил бы в него обойму, если бы не командиры рот. Повисли на руках... Я говорю: «Ладно», – отдал кому-то ТТ и раза два смазал адъютанта по морде. Ну а тот раздул историю... Не столько из-за Верочки избил эту тыловую амебу, сколько из-за того, что на подхалимских докладах делал карьеру на войне, стервец! Есть на войне, Ермаков, одна вещь, которую не прощаю: на чужой крови, на святом, брат, местечко делать! Ну а Верочку забыть не могу... Ох, стервецы, опять зуб! Я сейчас.

Орлов хлестнул коня, исчез где-то в глубине колонны, и Ермаков некоторое время ехал один, приотстав от Бульбанюка, качающегося впереди. Из сырой непроглядности леса, обступившего эту чужую, незнакомую дорогу, горько повеяло шершавой тревогой, и с тоской вспомнились ему холодные, вздрагивающие губы Шуры: «Тебя убьют». Он знал о том, что она любила его, пожалуй, больше, чем надо, и хотя понимал, что близость между ними не очень серьезна, не чувствовал вины перед ней, не признавая на войне ложных образцов добродетели.

Когда снова подъехал Орлов, дыша самогоном, Борис спросил:

– Ну а как она?

– Она? – Орлов сразу не понял. – Кто она?

– Ну Верочка, – грубовато напомнил Ермаков.

– Она? Меня разжаловали... а она... под крылышко к адъютанту...

– Сто-ой! – раздалась приглушенная команда спереди.

Оба одновременно припустили рысью лошадей и сейчас же остановили их перед группой всадников, загородивших дорогу. Луна встала над лесом, пронизывала чащу ледяным синим светом. Несколько пешеходов, придерживая автоматы на груди, негромко и пооче-

²⁴ *Пепеже* – походно-полевая жена.

²⁵ *ТТ* (тульский Токарева) – советский пистолет Ф. В. Токарева образца 1930 г.

редно докладывали Бульбанюку, который, досадливо кряхтя, слез с лошади, потер замлевшие колени, с недовольством спросил, выпрямившись:

– Вы что тут меня успокаиваете? Сам слышу, что тихо! Вы мне всю деревню прощупайте, по домику! Ясно? А потом докладывайте! Давай, давай вперед!

Бульбанюк сердито посмотрел на луну, повернулся квадратной спиной к разведчикам, при лунном свете его лицо было зеленым, жестким. Разведчики прошли несколько метров бесшумными шупающими шагами, канули в чашу, угрюмую, сизо-дымчатую в своем жутковатом осеннем молчании.

– Разрешите-ка мне с разведчиками? Все наизнанку выверну! – сказал Орлов обещающе. – Ну?

– Ты что? – спросил Бульбанюк и приблизил лицо к лицу Орлова. – З-зубы?

– Зубы, стервецы, – виновато ответил Орлов.

– Я т-те покажу зубы! – внезапно рассвирепел Бульбанюк. – Марш к ротам! Развернуть роты в цепь. И вперед. Марш! Артиллерист! – Он обернулся к Ермакову. – Подтяни-ка орудия сюда. Быть наготове. Слезай. И – за мной. Коней оставить тут.

– Передать: орудия сюда! – приказал Ермаков по колонне и спрыгнул на землю, торопливо пошел следом за Бульбанюком.

Краем выплыв из-за деревьев, луна светила на дорогу, и в чаще угрюмо и тускло заблестели влажные стволы голых осин. Мертвенным металлическим светом был облит весь лес. Печалью, ощутимой утратой несло от шелеста листьев, от холодной накаленной луны, от черных теней заброшенной этой дороги. Куда вело все? Где был конец этой осенней ночи?

Не сказав друг другу ни слова, миновали кусты, увлажненные, нагие, и разом остановились.

Лес кончился... И впереди везде был этот беспокоящий лунный свет: в пустынных полях, в извилах латунно неподвижной реки, за темными стогами, на деревянном мостке и в мертвых стеклах тихой деревни, разбросанной за рекой. Не слышно было ни лая собак, ни скрипа колодца, не пахло дымом в студеном осеннем воздухе. Все цепенело, молчало под луной, и только стаей голодных мышей полз ветер в стерне.

– Вот она, Ново-Михайловка, – вполголоса произнес Бульбанюк. – Вот она. Нет, ничего не слышу... И ничего башкой не соображаю. – Сел на пенек, крепко потер двумя руками лицо, скривил губы. – Никого? А с кем воевать? Ну, братец ты мой, дела-а!..

Задумчиво играя кнутом, Ермаков вглядывался в безмолвные, холодные от лунного света поля, в эту безжизненную деревню, пусто отблескивающую стеклами, и, смутно ощущая тревогу от странной этой тишины, спросил:

– Разведку подождем?

Через сорок минут разведка вернулась и сообщила, что Ново-Михайловка совершенно пуста, лишь в одной хате нашли полуслепую, лет под восемьдесят старуху, которая ничего толком не понимала, ничего не могла объяснить, плакала, ползала по хате и все искала какую-то Тасю, и осторожный Бульбанюк после мучительного раздумья отдал приказ: занять деревню.

Батальон вошел в Ново-Михайловку.

Луна вольно и светло заливала пустынные улицы, сквозные заброшенные сады, беленькую церковку, огромный парк на окраине деревни; в глубине его виднелось здание синеющей меж ветвей крышей.

Ермаков вел орудия в растянутой колонне первой роты. Посреди Ново-Михайловки, на перекрестке дорог, рота задержалась, послышались невнятные голоса, и колонна стала обтекать что-то широкое, угольно-черное. Ермаков подъехал ближе. На перекрестке тяжело и прочно стоял немецкий танк, верхний люк был открыт, из него слабой полосой струился электриче-

ский свет. На броне борта опасно лежали четыре железные лепешки – мины. Двое солдат, взобравшись на танк, с интересом заглядывали в башенный люк, переговаривались:

– Как это он его оставил? Целехонький...

Один смело отодвинул ногой мину, выбил каблуками дробь, крикнул сверху:

– А ну, ребята, кто есть шофер? Садись! Там бутылок вагон и маленькая тележка! Легко воюют!

Было нечто лихое, бездумное в этом веселье, и засмеялась пехота, но тотчас кто-то, вздохнув, сказал: «Дуришь, Матвеев», – и тогда пожилой лейтенант-пехотинец решительно скомандовал:

– Все от танка!

Ермаков вернулся к орудиям с обострившимся ощущением неопределенности: очевидно, чувство это испытывали теперь многие. С усилием он пытался заставить себя думать, что все идет хорошо, все идет как надо, но беспокойство не проходило.

Бульбанюк расположил штаб батальона в просторном, окруженном пристройками белом доме липового парка. Здесь до войны, по-видимому, была школа. Роты окапывались на окраинах. Ермаков приказал установить орудия в конце аллеи, зарыться в землю, затем долго ходил по скату холма, глядел на смутную громаду леса, где должен быть правый фланг немецкой обороны и которого словно бы не было.

Штаб батальона занял самую большую комнату в доме. Тут было накурено и людно. На столе бесшумно горели синими огнями немецкие плашки, четко повторялись во множестве зеркал, блестящих на стенах. Ермаков удивился, увидя себя наперекрест отраженным в этих льдистых провалах зеркал, которые были, вероятно, собраны сюда со всей деревни. Перчатки, черные и узкие, по виду женские, затоптанные, валялись в углу. Там, около двух ящиков, хаотично разбросанных ярко-красочных обложек журналов и тоненьких книг, выстроились на полу ряды пустых бутылок.

Сквозь махорочный дым слабо пахло духами и чем-то еще – чужим, сладковатым, конфетным.

«Публичный дом, что ли, тут был? – определил Ермаков и, встретив понимающий веселый взгляд Орлова, сел на ящик, который был распечатан; под разорванным целлофаном загадочно мерцало, тускло переливалось. Хмурясь, Борис достал оттуда новенький Железный крест, подбросил на ладони, подумал: «Был штаб или что-нибудь в этом роде», – поднял глаза и увидел в зеркалах брезгливое лицо Бульбанюка, читающего какие-то бумаги.

– Вот дармоеды! На русском языке пишут! – густо проговорил Бульбанюк и, вдвое сложив, крепкими пальцами порвал бумагу. – Все собрались?

– Все, все, – оживленно сказал Орлов, подвигая к себе красочный журнал на столе.

В комнате уже стало душно. Здесь собрались командиры рот, молоденький офицер-корректировщик из артполка, молчаливый минометчик-лейтенант в очках, радист, штабные телефонисты – кто искоса, кто мрачно, но все беспокойно оглядывались на зеркала. Было такое чувство, что все обнажено вокруг, что ничего не скроешь в этой раздевающей людей комнате, и пожилой, грязно обросший щетиной пехотный лейтенант с наигранной решительностью сказал:

– И выбрали же вы штаб, Орлов! Как баня!

– Как без штанов стоишь! Верно? – излишне громко отозвался Ермаков, чувствуя пошлость этой остроты, понимая, что надо как-нибудь разрядить обстановку для всех, в том числе и для самого себя.

Бульбанюк сурово посмотрел на Орлова, никак не обратившего на слова лейтенанта внимания, ничего не сказал ему, в раздумье кивнул командирам рот:

– Коротко. Думаю так. Пока разведка окрест лесá прощупает, малость передохнем. Нашупают немца или не нашупают, через часок двинем на север, во фланг немецкой обороне. Завяжем бой. Всё. Вопросы есть?

Вопросов не было.

– Можно идти. По ротам. Приказания через связных.

По-прежнему оглядываясь на зеркала, командиры рот молча начали выходить. Вышли и связные в другую комнату. Стало тихо и пусто. И тогда Ермаков ясно понял, почему угнетала всех и его самого эта неопределенность положения. Батальон искал боя, а боя не было. И это было самое страшное, что могло быть на войне.

Бульбанюк сидел неподвижно, сжав кулаки на столе, тяжелым взглядом глядел перед собой. Он не замечал ни зеркал, ни телефонистов, ни курившего рядом Ермакова, думал о чем-то своем. А Орлов снял фуражку, щуря нестерпимо зеленые глаза, довольный, провел рукой по цыганским, колечками, волосам и, листая журнал, фыркнул, одна опухшая щека смешно скосилась.

– Стервецы, – сказал он, – одни голые бабы! Тьфу, чтоб тебя черти съели!

Но журнал долистал до конца, заложил руку за шею, с хрустом потянулся, выдохнул воздух – п-х-х-ха! – так, что замигали огни плошек. Затем, вроде от нечего делать, лениво взял какой-то листок на столе, поднял красивые брови, поманил Ермакова пальцем:

– Посмотри-ка...

Тот взглянул. На ватмане карандашом была нарисована хорошенькая женская головка: большие внимательные зрачки, нежный, невинный подбородок, полные, как бы обиженно и недоуменно полуоткрытые губы. Внизу наискось – тонким почерком: «Генька!! Помни 21 августа!!!» Ермаков долго рассматривал косую подпись, стараясь понять смысл всего этого, и вяло спросил Бульбанюка:

– Видели?

Словно очнувшись, Бульбанюк неприязненно покосился на рисунок, перевел узкие глаза на Орлова, замедленно сказал:

– Вот так, начальник штаба, передай командирам рот: удвоить посты. Никому не спать. Ни одному человеку не спать. – И кулаком несильно стукнул по столу, зеркала вокруг согласно повторили его движение.

– Передам, – лениво сказал Орлов и подмигнул Ермакову.

Он подошел к окну, начал перебирать бутылки, аккуратно читая этикетки, с разочарованным выражением понюхал горлышко пустой фляги.

– Хороший коньяк пьют, сапоги!

Ермаков, сунув руки в карманы, ходил по комнате, от зеркала к зеркалу, из головы не выходило: «Генька!! Помни 21 августа!!!» И то ли оттого, что в зеркалах он все время встречал бесшабашно прищуренный взгляд Орлова, этот Генька, которого он хотел представить себе, вдруг показался ему внешне похожим на Орлова – злой, гибкий, с такими же нестерпимо зелеными, отчаянными, готовыми ко всему глазами.

– Пойду к орудиям, – сказал Ермаков и надвинул плотнее фуражку.

– Давай, – не шевелясь, ответил Бульбанюк. – Часовых удвой.

Ночь была на переломе – луна еще сияла за деревьями, над тихой деревней, а в побледневшем небе звезды сгрудились в высоте и казались светлыми туманными колодцами. Парк сухо скребся оголенными ветвями, шумел предутренним ветром – свежо, влажно потянуло с низин.

В конце парка Бориса настороженно окликнули:

– Стой! Кто идет?

– Свои.

- Кто – свои? – испуганно и грозно взвился голос.
- Капитан Ермаков.
- А-а, – облегченно произнес часовой.

Ермаков подошел к первому оружию – запахло сырой землей. Орудие стояло на чернеющей среди холма вырытой огневой позиции, станины раздвинуты, оружейный расчет маскировал брустверы; справа и слева чуть слышно скрежетали лопаты – копали ровики. Работали в молчании. Часовой проводил Ермакова до огневой, зашептал в темень кустов: «Лейтенант, лейтенант», – и тут же отошел, исчез за спиной.

Лейтенант Прошин встретил его возбужденный, отвел в сторону, отрывисто заговорил:

– Ничего не понятно, товарищ капитан. Какие-то люди шляются. По дороге вниз... и здесь...

– Какие люди?

– Минут десять назад какие-то двое прошли. Часовой остановил: «Кто идет?» Отвечают: «Свои». Подошли. С фонариками. Посмотрели. «Окапываетесь? Где офицер?» Я говорю: «В чем дело?» Один спрашивает. «Где ваш сектор обстрела?» Я спрашиваю: «Кто вы такие?» Другой отвечает: «Я командир третьего батальона, не узнаете?» И наседает: «Где сектор обстрела, лейтенант? Мне пехоту закапывать нужно». Я ответил, что сектор обстрела еще неизвестен. А он засмеялся: «Эх вы, пушкачи – прощай, родина!» – и пошли вниз. Командир третьего батальона...

– Мальчишка! – с таким внезапным гневом сквозь зубы проговорил Ермаков, что Прошин отшатнулся даже. – Никакого третьего батальона здесь нет! Вы поняли? Здесь есть один командир батальона Бульбанюк. Вам ясно? Рас-те-ря-лись! Эх вы!.. Черт бы вас взял совсем!

– Я думал... – пролепетал Прошин заикающимся голосом. – Потом думал, что...

– Ничего вы не думали! – со злостью оборвал Ермаков. – Дали бы им в спину автоматную очередь, если не хватило смелости задержать живыми, вот тогда бы вы думали! Почему не сообщили сразу? Витьковского послали бы за мной! Где он, Витьковский?

– У второго оружия.

– Где вы видели людей на дороге?

– Вон там.

– Никого не вижу!

– Сейчас там никого... нет... Что это? Слышите?

Вдруг красный неопределенный свет возник в небе где-то над парком, и Ермаков отчетливо увидел бледное лицо Прошина и замерших с пучками веток солдат на огневой позиции. Все смотрели. Ракета, как бы сигналила кому-то, описала дугу и упала, затухая, в дальнем конце парка. Сразу нависла тишина... Откуда ракета? Чья? И тотчас вторая ракета стремительно взвилась уже впереди, над лесом, откуда пришел батальон, и пышно рассыпалась в полях. Искры угасли в сомкнувшейся темноте, и снова навалилась тугая тишина.

– Немцы? – шепотом выдавил Прошин и быстро повернул голову туда, где слева всплыла уже третья ракета.

– Да, это немцы, – сказал Ермаков. – Колечко видите? Они...

Он не договорил. Кто-то, задыхаясь, бежал по скату холма, цеплялся за кусты, издали звал нетерпеливо и хрипло:

– Лейтенант! Лейтенант!..

– Ты, Жорка? – крикнул Ермаков.

– Товарищ капитан... фрицы!..

– Быстро в штаб к Бульбанюку!

– Товарищ капитан...

– В штаб! Молнией!

Впереди, с околицы, ударили крупнокалиберные пулеметы, белые трассы хлестнули над головой.

Глава восьмая

Эта маленькая полоска земли на правом берегу Днепра, напротив острова, называлась в сводках дивизии плацдармом, в разговорах штабных операторов – трамплином, необходимым для развертывания дальнейшего наступления. Кроме того, в донесениях из штаба дивизии Иверзева неоднократно сообщалось, что плацдарм этот прочно и героически держится, перечислялось количество немецких контратак, количество подбитых танков и орудий, число убитых гитлеровских солдат и офицеров и доводилось до сведения высшего командования, что наши войска концентрируются и группируются в районе острова, на узкой расширяемой полосе правобережья, и готовятся нанести удар. С конца прошлой ночи наступило неожиданное затишье, а известно, что в состоянии вынужденных передышек высшие штабы требуют донесений более подробных, чем в период наступления, и в сообщениях из дивизии все выглядело на плацдарме чересчур планомерно...

Здесь же, в батарее старшего лейтенанта Кондратьева и в роте капитана Верзилина, точнее, в расчетах двух уцелевших орудий и в двух оставшихся после переправы стрелковых взводах, ждали и закапывались в землю. Узенькая – на две сотни метров – ленточка плацдарма тянулась по высокому берегу Днепра, днем просматривалась немцами и простреливалась с трех сторон, ночью ракеты падали и догорали в нескольких шагах от огневой позиции батареи.

Две землянки, похожие на большие норы, были выкопаны артиллеристами в отвесном обрыве; вырубленные в земле ступени вели наверх, к орудиям. Днем там лежал один часовой, ночью – два. Здесь, на бугре, орудия были глубоко врыты, стояли без щитов, накрытые камуфляжными плащ-палатками; ниши по бровку набиты снаряжными ящиками, что удалось за ночь переправить сюда.

В ясный голубой день, засиявший над Днепром после ночной переправы, артиллеристы грелись на песке возле землянки; усталые, наслаждались осенним солнцем.

Старший лейтенант Кондратьев поёживался в несвежей нижней рубашке, неумело и конфузясь, пришивал подворотничок к пропотевшей гимнастерке. Изредка он поглядывал на левый берег. Густо-синяя широта Днепра, облитая солнцем, песчаный остров, желтые леса, белые дороги на далеких холмах за лесами – все это, как в бинокль, на много километров было видно отсюда. Там, на белых дорогах, нечасто появлялись повозки, ползли в пыли, и тотчас со стороны немцев глухо ударяла батарея. Черные кусты разрывов вырастали на холмах, застилали на миг дорогу. Стараясь выбраться из этих кустов, повозки мчались, неслись вскачь, круто забирая в гору, и тогда у всех возникало острое чувство любопытства: накроет или не накроет?

Один раз повозку все-таки накрыло: на том месте, где была лошадь, образовался бугор. Маленький человек соскочил на дорогу и, петляя, побежал в сторону и вверх. И, как в укрытие, вбежал в черный куст разрыва. Больше по нему не стреляли.

Сержант Кравчук, держа на весу ногу и плотно, сильно наматывая на нее чистую портянку, сказал с осуждением:

– Эх и дураки бывают братья славяне. Все пристреляно, а он лезет. Чего лезет? Стороной объехать нельзя? Немец не полез бы...

– Глупая привычка – авось, – сказал Кондратьев и провел пальцами по влажному лбу. – Да, да...

Он покашливал, то зяб, то бросало в пот: простыл все же, когда немцы искупали в Днепре в ту первую ночь неудачной переправы.

Разыгравшееся осеннее солнце было тепло, ласково, он чувствовал это, но оно не согревало его всего: голове было горячо, спине холодно. Глубоко тыкая иголку в подворотничок – пальцы не слушались, – Кондратьев удивлялся и сердился даже: всю войну не болел, а тут вот на тебе, чепуха какая!..

– А ты не торопись. Сказал, будут у тебя часы, – послышался спокойный уверительный голос.

Шагах в трех от Кондратьева – головами друг к другу – лежали на плащ-палатке наводчик Елютин и подносчик снарядов Лузанчиков, худенький, с золотистым пухом на щеках. Как всегда, Елютин возился, чинил очередные часы: прищурился внимательно глаз, крутил острием перочинного ножа в разобранном механизме. А Лузанчиков глядел на сияющие колесики, на косматое солнце, на песчаный остров за Днепром, потом засмеялся и подул на светлые волосы Елютина. Тот, не поднимая головы, спросил:

– Это что же такое?

– Паутина, – сказал Лузанчиков. – Вон смотрите, на волосах. С деревьев тянется.

Елютин поднял голову. На берегу, среди синего неба, стояли, светясь каждым листом, рыжие осины, и оттуда, посверкивая тончайшими нитями, тянулась в чистом воздухе паутина.

– Действительно, – сказал Елютин удивленно. – Ну ладно, ты вот что. Давай помогай, без всяких глупостей. Или проваливай. И всё. Тебя ничего не интересует. Ты как дрозд, Лузанчиков. Все видишь, а на одном не можешь внимания держать.

– А вот интересно: солнце, деревья, а птиц нет. Даже синиц. Почему?

– Перепугали синиц, – мягко сказал Кондратьев.

– Проваливай! – проговорил Елютин сердито. – От тебя толку не будет.

– Нет, я буду вам помогать! – взмолился Лузанчиков. – Честное слово...

– Пусть, – вмешался Кондратьев и улыбнулся виновато. – Что вы на него сердитесь?

Паутина тоже отличная штука.

Елютин был ленинградец, часовых дел мастер, золотые руки, золотая голова. Если сам Кондратьев, филолог по образованию, стал многое забывать, что когда-то очень любил, и теперь уже, казалось, жил одной войной, то Елютин, парень с шестиклассным образованием, как будто едва вдавался в логику военных событий, – ежедневно руки его были в знакомой работе.

В обороне почти весь полк сносил к нему немецкие, швейцарские и наши старенькие, случайно и не совсем случайно найденные механизмы, и каждый с радостным удовольствием уходил, чувствуя ожившие часики на руке. Не ремонтировал Елютин и отказывался чинить только тогда, когда приносили к нему часы карманные. Был случай: он наладил и выверил прекрасный трофейный «Мозер» для Кондратьева, тот подарил его лейтенанту из полковой разведки, а через неделю лейтенант погиб – разорвалась мина, раздробила карманные часы, и осколки механизма загнуло в живот. Узнав об этом, Елютин несколько дней ни с кем не разговаривал, лежал в землянке, отвернувшись к стене, и наотрез отказывался работать. Поэтому, не забывая роковой случай, Кондратьев порой чувствовал себя неловко перед ним.

Кондратьева знобило. Вздрагивающими пальцами он разгладил неровно пришитый черными нитками подворотничок, озябнув, натянул гимнастерку, застегнул воротник на исхудавшей шее.

– Смотри-ка, смотри-ка, товарищ старший лейтенант! Опять какой-то славянин лезет! – закричал Кравчук с досадой. – Сообщает?..

Тотчас раздался сдвоенный взрыв. Будто что-то гулко лопнуло около ушей.

Кондратьев увидел холодную синь Днепра, на ней далекую песчаную желтизну острова. Там, отрываясь от желтизны, засновала на воде лодка, замелькали весла. Возле ушей Кондратьева снова оглушительно лопнуло, и рядом с лодкой вырос столб воды. Стрелял немецкий танк. Он стрелял где-то слева, на высоте, так близко, что было ощущение, словно в двух шагах рвались ручные гранаты. Лодка кормой пошла к берегу, ткнулась в песок, из нее выскочили двое, побежали к кустам. Сейчас же в той стороне, где прямой наводкой стрелял танк, закрипел, заиграл шестиствольный миномет. Разрывы легли в середине острова, над вершинами деревьев пополз дым. А остров кишел людьми.

– Похоже, наш старшина хотел переправиться, – сказал без улыбки Кравчук. – Ночью, видишь, темно, а днем все удобства: солнышко печет, танки стреляют. Благодать!

– Вечная история, – сказал Дервянко, – дрожит, аж листья падают. Ну, что ты скажешь, Бобков?

Бобков, сидя на солнцепеке, в шинели, накинутой на голое тело, – видна была просторная грудь, – старательно проверял швы натальной рубахи, говоря:

– Капитана нет, этот бы начесал старшине. На одной ноге вертелся бы. А то отъел морду – об лоб поросенка убить можно... Нашего-то он не особенно боится. На шею сел. Оседлал.

Сказал это веско, но вроде бы между прочим, занятый важной солдатской работой, и Кондратьев, услышав, сконфуженно нахмурил лоб.

Снизу по берегу Днепра поднималась Шура с полотенцем, по-мирному перекинутым через плечо. Влажные волосы у маленького розового уха золотисто светились на солнце. Чистоплотно белел свежий подворотничок на тонкой шее; на погонах гимнастерки, плотно сжатой в талии офицерским ремнем и обтянутой на бедрах, блестели капли. Взглянула из-под мокрых ресниц на Кондратьева, серые глаза ясно-прозрачны после ледяной воды, сказала:

– Батюшки, какая неловкость! Разве так пришивают подворотничок? И черными нитками насквозь. Снимайте-ка.

Она не засмеялась, не пошутила, с серьезной бесцеремонностью начала расстегивать пуговицы на груди Кондратьева; от глаз ее и от волос, мнилось, веяло непорочной свежестью. Он беспомощно оглянулся на солдат, дрожа в ознобе, легонько отстранил ее показавшиеся очень холодными пальцы.

– Не надо. Прекрасно пришит. – И, покашляв, забормотал: – Вы купались? В такой холод?

Шура, сдвинув брови, кинула вызывающий взгляд на Кравчука; он смотрел на нее пренебрежительно и ревниво.

– Подворотничок, конечно, чепуха, – сказала Шура. – И так сойдет. А вот полежать бы вам надо, товарищ старший лейтенант. А впрочем, может, и это сойдет.

– Нет, пожалуй, я пойду. Полежу, правда, – торопливо проговорил Кондратьев, зябко ссутулясь, и направился к землянке.

Он боялся и стеснялся Шуры, особенно при солдатах, стеснялся ее внимания к себе, своей грязной нижней рубахи и, чувствуя эту физическую собственную нечистоту, боялся ее женских упругих бедер, белой шеи, ее высокой маленькой груди, облитой гимнастеркой, ее внешней девственной чистоты и легкой вызывающей доступности.

– А мне подворотничок не подошьешь? – спросил Кравчук Шуру значительно-осторожно. – Я с охотой!..

– Давай уж! – сердито сказала Шура.

– Вот-вот, без охоты, вижу, – проговорил Кравчук. – Сам пришью. – И неожиданно спросил, криво усмехаясь: – К Кондратьеву липнешь? Быстро капитана забыла. Эх ты!

– Что ты понимаешь, свекровь несчастная? – живо сказала Шура и, покачивая бедрами, стала подниматься к землянкам вслед за Кондратьевым.

– Зачем ты пристал к ней? – заметил Елютин миролюбиво.

– Верно, – произнес Бобков с тяжеловесной защитой. – Ей тут среди нас тоже не мед. И не наше дело ей советовать.

– Капитана жалко, – ответил Кравчук, тоскливо глядя Шуре в спину.

Кондратьев между тем подошел к своей землянке, вырытой на берегу, – соблюдая субординацию, Кравчук приказал открыть ее отдельно, – и тут же увидел в дверях соседней землянки телефониста Грачева.

– Товарищ старший лейтенант, к телефону!..

– Кто?

– Полковник Гуляев! Немедленно!

В землянке расчета, на ворохах листьев, укрывшись шинелями с головой, упоенно храпели несколько солдат – отсыпались после беспокойной ночи. Связист Грачев, присев на корточки у телефонного аппарата, вежливо подул в трубку.

– Товарищ четвертый, шестой здесь. Передаю.

Кондратьев взял нагретую трубку, покашлял от волнения.

– Кто это там кашляет? – строго произнес отдаленный голос полковника Гуляева. – Ты говори, а не кашляй. Как дела? Почему редко докладываешь?

– Все в порядке пока, товарищ четвертый.

– Не верю. Харчей нет? Жрать нечего? Докладывай!

Кондратьев только кашлянул тихо.

– Опять кашляешь? Говори, нет харчей? Что ты, ей-богу, как барышня кисейная? Спишь, никак?

– Нет, – сказал Кондратьев.

– Потерпите! Ночью буду сам. И не один. Старшину вашего... этого... как его?.. Цыгичко... вплавь погоню. К чертовой матери!

– Плавать он не умеет, товарищ четвертый, – слабо улыбнулся Кондратьев.

– Не переплывет – туда ему и дорога! Теперь вот что. Здесь все готово. Слышишь, шестой! Сам поймешь. Ночью папиросники и самоварники у тебя будут. С линией. Сейчас, главное, точки замечай. Заноси. Используй день. Понял, голубчик?

– Понял, товарищ четвертый.

– Ну, то-то. Действуй!

Все понял Кондратьев из этого разговора: и то, что ночью готовились переправа и прорыв; и то, что ночью придут артиллеристы и минометчики со связью от левобережных батарей и что занести надо в схему огня цели, которые можно заметить отсюда.

Кондратьев поднялся по вырубленным земляным ступеням на самую высоту берега, скользнул, пригнувшись, в траншею. В десяти шагах справа, в конце кустарника, стояли орудия, приведенные к бою. Солнечно было здесь, на высоте, и тихо. Часовой, разнежась в тепле, лежал на бровке и, свесив голову, прислушивался к чужому разговору в ровике. Ровик этот соединялся с ходами сообщения пехоты, был глубоко вырыт в виде тупого угла для удобного обзора. Командир взвода управления, младший лейтенант Сухоплюев, необычайно большого роста, в куцей телогрейке, горбился подле стереотрубы – отросшие каштановые волосы спадали на воротник, – прогудел юношеским баском:

– Кто там?

И как бы нехотя обернулся, длинное молодое лицо ничего не отразило; был он сдержан, чуть высокомерен, никогда не улыбался никому.

– Наблюдаете? – спросил Кондратьев, закашлявшись. – Тихо?

– Не особенно. – Сухоплюев вынул кисет, сосредоточенно по сгибу оторвал полоску бумаги от свернутой книжечкой немецкой листовки, что разбрасывали самолеты ночью.

Впереди, метров на двести, шло голое, без кустарника поле, покатое к немцам, и там, где поднималось оно, темнела еловая посадка. На краю ее четко видны были навалы первых немецких траншей, и в одном месте, как вспышки, летели прямо из земли комья: копали что-то. Немец в зеленом френче, застегивая брюки, шел вдоль посадки, не пригибаясь, во весь рост: с нашей стороны по нему не стреляли. Дошагал до того места, где копали, поглядел в нашу сторону и спрыгнул в траншею. Левее посадки начиналась дорога – желтела, извиваясь до леса, скрывавшего Ново-Михайловку и Белохатку.

По дороге этой, вздымая пыль, на рыси неслись четыре немецкие орудийные упряжки. Они приблизились, четче стали видны тяжелые короткохвостые першероны²⁶, немцы, мура-

²⁶ *Percheron* – порода крупных лошадей-тяжеловозов.

вьями облепившие станины. Упряжки скрылись за елями, а мгла пыли долго висела над дорогой. Потом в кустах посадки появилось одно приземистое, с обтекаемым щитом орудие, уже без упряжки. Немцы на руках выкатывали его позади траншей; трое отошли к деревьям, начали рубить штыками ветки, закидывать ими орудие. Никто не стрелял по ним.

Кондратьев сел на дно окопа, попросил:

– Дайте, пожалуйста, схему огня.

На каллиграфически вычерченной Сухоплюевым схеме Кондратьев увидел аккуратно обозначенные линии немецких траншей, пулеметные точки, танки в еловой посадке, минометные батареи в овраге за дорогой; он вынул карандаш и отметил на схеме немецкое орудие. Рука Кондратьева дрожала, карандаш порвал бумагу.

– Вы мне схему испортили! – вдруг вытаращил на Кондратьева молодые независимые глаза Сухоплюев. – Сказали бы – сам сделал! Хоть все снова перечерчивай! – И, отобрав схему, принялся стирать резинкой.

Кондратьев забормотал смущенно:

– Пожалуйста, не сердитесь. Только что звонил полковник Гуляев...

И, не сдерживая стук зубов, сутулясь и засовывая руки в рукава шинели, он передал суть недавнего разговора со штабом полка.

– Что это вы? Холодно вам? Или нервы? – насторожился Сухоплюев.

– Шут его разберет, немножко есть. Вы до Ново-Михайловки и Белохатки по карте точно прицел вычислите. Ночью там начнется. Мы поддерживаем. Все решится ночью...

– Что-то с вами не в порядке, – подозрительно сказал Сухоплюев.

– В самом деле ерунда собачья, – ответил Кондратьев и встал. – Ну, я пойду.

...Кондратьев лежал в землянке, не сняв шинели, на ворохах листьев, укрывшись с головой брезентом. Голова горела, его знобило, была жаркая сухость во рту, и особенно нестерпимо хотелось пить, но он не мог сделать над собой усилие, открыть глаза, встать. «Сейчас, я сейчас, – думал он, – вот сейчас я встану, найду флягу и напьюсь... Вот только полежу немного...» И непонятно было то, что за землянкой с последней яркой силой светило октябрьское солнце и солдаты грелись, скинув шинели, разувшись, сидели на солнцепеке.

Голоса какие-то. Смех. Тишина. И опять голоса. О чем там можно говорить? Молчать, молчать... Надо ждать ночи. Ночью все решится... Где капитан Ермаков? Где Шура? Кравчук где? Подготовить цели. Ночью? Какая чепуха! Как приятно бездумно лететь в густую и, как пух, невесомую темноту... Напиться бы, только воды напиться, и все будет хорошо... Холодной, ледяной воды, ломающей зубы...

...Освещенный огнями вестибюль метро. Из подъезда валит желтый пар, морозный, клубящийся, пронизанный огнями. Люди спешат, бегут в мохнато заснеженных пальто с поднятыми воротниками, вокруг чудесно скрипит снег. И везде ощущение праздника, ожидание радости. И смех другой – счастливый, влюбленный. Новый год, наверное? Он ждет Зину в вестибюле Арбатского метро, милую худенькую Зину с бирюзовым колечком на среднем пальце и детской привычкой растягивать слова. Лицо у нее юное, серьги ласково сверкают в нежных мочках ушей, глаза, темно-серые, спокойные, улыбаются ему, а носок опушенного мехом ботинка на сильной ноге нервно старается продавить льдинку на тротуаре. И он тоже каблуком давит этот ледок...

«Встать, встать... Напиться бы... Несколько бы глотков... В жизни бывает так: можно любить, в сущности, чужую тебе женщину, много лет любить... Но за что я любил ее?»

– Милый, милый! Какая же я Зина? Да разве так согреешься!

Кто-то расстегивал на его груди шинель, провел мягко ищущими пальцами по лицу, и Кондратьев, в жару, чувствуя горячую влагу слез в горле, смутно и радостно отдаваясь этим рукам, подумал: «Кто же ее привел сюда? Зачем она здесь?»

– Выпей это. Жар пройдет. Ну вот, молодец. Бе-едный мой!..

Чьи-то руки обвились его шею, и тотчас упругое тело прижалось к нему, и губы, прохладные, легкие, коснулись его подбородка, и голос, знакомый, близкий, растягивал слова:

– Бе-едный мой, Сере-ежа, скоро все пройдет... Ты обними меня...

Он вдруг очнулся от этого голоса.

Темно было и влажно, пахло осенними листьями, и лиловая узенькая стрела света пробивалась сквозь плащ-палатку, завесившую выход, остро рассекала потемки.

– Это ты? – ослабленным голосом спросил он. – Неужели это ты?

– Это я... Лежи, лежи, прижмись ко мне, Сережа, – прошелестел над ним быстрый, успокаивающий шепот. – Я с тобой буду. С тобой...

А он все не мог согреться, боясь обнять Шуру, робко целуя ее пальцы.

– Милая, чудесная! – шептал Кондратьев, стуча от озноба зубами. – Зачем это? Добрая... Чудесная... А как же Борис?..

Она крепче прижалась к нему грудью, глядя его щеки, его шею.

– Он не любит меня, Сережа. Разве он меня любит? Всю душу без слёз по нему выплакала... а с тобой спокойно... Как с ребенком... Бедный ты мой. Ты кого-нибудь любил?

– Не знаю...

– Ну совсем как ребенок...

Бред это был или явь? Она растягивала слова, как Зина, было тесно, жарко, он не видел лица Шуры, выражения ее глаз, а она с торопливой нежностью ласкала его, и от близости с этой женщиной хотелось ему плакать и говорить что-то разрывающее душу, чего невозможно было сказать...

– Ты чудесная, чудесная... Чистая... – шептал он, благодарно целуя ее ладонь. – Ты удивительная, прекрасная...

– Тебе сколько лет? – спросила она.

– Двадцать три.

– Неужели ты никого не любил?..

Он уснул. А она, посидев немного возле него, вышла из землянки. Ни одного солдата не было вокруг. Стояла вечерняя тишина. Весь Днепр был оранжевым, накаленный закат на половину неба горел, поднимался над берегом, и вычерчивалась там черная паутина застывших в этом свете ветвей.

Вдруг, со свистом вынырнув из заката, низко над водой пронеслись два «мессершмитта», вонзаясь в лиловый воздух над лесами. Там застучали зенитные пулеметы и рассыпались в небе трассы. А Шуре было горько и нежно.

Глубокой ночью Кондратьева разбудили. В теплую землянку ворвался холод, стук пулеметов, отсвет ракет, плащ-палатка со входа была сдернута. Кондратьев лежал в обильном поту, все тело болезненно расслаблено.

Голос Бобкова кричал в землянку:

– Вас срочно к полковнику Гуляеву! На НП²⁷. Товарищ старший лейтенант!..

– Прибыл? – еще ничего не понимая, хрипло спросил Кондратьев и вылез из землянки.

Правый берег и Днепр внизу освещались ракетами, над головой проносились трассы.

– Только что! Заваруха была! Неужто не слышали? Так спали? – прокричал сквозь дробь пулеметов Бобков.

Кондратьев, смущенный, спросил негромко:

– Где Шура? Не знаете?

Бобков ответил:

– А офицера одного при переправе ранило. Так она с ним, – и показал куда-то вниз.

²⁷ НП – наблюдательный пункт.

Вместе с Бобковым поднимаясь к орудиям, покачиваясь от слабости, Кондратьев с замиранием сердца думал о недавнем бредовом счастье (было ли оно?), и не хотелось верить ни в щелканье пуль о стволы сосен, ни в частые взлеты ракет на берегу, ни в близкий треск пулеметов.

Но в первой же траншее пришлось пригнуться так, что железный крючок шинели впился в горло, головы поднять было нельзя. Проходя мимо орудий, он увидел при свете ракет, что расчеты лежат на земле и снарядные ящики раскрыты. В ровике осторожно звенели ложки о котелки: по-видимому, старшина прибыл.

Глубокий окоп НП младшего лейтенанта Сухоплюева был тесно набит знакомыми и незнакомыми артиллерийскими офицерами. Все они, возбужденные недавней переправой и чувством опасности, почти в голос переговаривались между собой, жадно курили в рукав. Двое радистов монотонно отсчитывали – настраивали рации.

Полковник Гуляев, грузно расставив ноги, стоял посреди окопа, лица не было видно, надвинутый на лоб мокрый козырек фуражки зажегся розовыми шариками – отблесками ракет.

– Спали? – с угрозой спросил он Кондратьева. – Царство небесное проспишь! Санинструктор сказала: ты болен. Болен? Что?

– Был немного. Сейчас лучше.

– Смотри сюда! – Полковник вытолкнул откуда-то из глубины окопа оробелого Цыгичко, проговорил: – Этого вояку на твое усмотрение. Хочешь – казни, хочешь – милуй... Он тебя накормит, сукин сын!

– Вы что же, Цыгичко? – тихо спросил Кондратьев. – Как вам не совестно?

А старшина, весь съёживаясь, вобрав голову в плечи, нелепый в кургузой кондратьевской шинели, испуганно забормотал:

– Не мог, товарищ старший лейтенант... Я ж тоже под огнем был. С саперами был. Вчёрась ночью. Вы же знаете, товарищ старший лейтенант...

– Не мог? А люди могли быть сутки голодными? А, братец ты мой? – выговорил Гуляев резко. – В пехоту! В роту Верзилина. Как раз у него мало людей. Верзилин! – крикнул он через плечо. – Зачислить старшину Цыгичко рядовым в роту! И дать ему винтовку, сукину сыну!

Цыгичко тяжело, словно его сзади ударили по ногам, качнулся к Кондратьеву, схватился двумя руками за полу его шинели.

– Не виноват я, не виноват... Щоб я детей своих не бачил²⁸...

– Э-э, голубчик, у всех дети! – грубовато сказал Гуляев.

– Что вы, что вы? Как не стыдно! – растерянно заговорил Кондратьев, неловко пытаюсь отнять руки старшины, но пальцы Цыгичко вцепились в его полу и точно закаменели. – Товарищ полковник... Я прошу. На мою ответственность...

Полковник Гуляев, брезгливо поморщась, повысил голос:

– Марш в роту, Цыгичко! Кто вы, мужчина, советский солдат? Или старая баба? Капитан Верзилин, проводи-ка воина в роту!

Не обращая более внимания на Цыгичко, полковник Гуляев уже смотрел на ярко озаряемую ракетами полосу еловой посадки; артиллерийские офицеры, присев под плащом и светя фонариком, стали разглядывать схему огня. А Кондратьев не мог успокоиться, сворачивал самокрутку, пальцы не слушались, и хотелось сказать какую-то резкость, заявить о никому не нужном на войне самодурстве, однако вместе с тем он понимал, что не скажет этого. И все же Кондратьев сказал, преодолевая хрипотцу в голосе:

– Вы напрасно, товарищ полковник. Он ведь не хотел...

²⁸ Б а ч и л – видел (укр.).

– Слушай, комбат! – жестко перебил Гуляев. – Дело идет о судьбе наступления, а ты мне голову морочишь сантиментами! Постреляет из винтовки, в атаку походит, сухарики погрызет, поймет, что такое война, на своей шкуре. Так вот что. Максимов уже завязал бой. Полчаса назад. Выбрось чепуху из головы и слушай!

Только сейчас сквозь бесконечное шитье близких пулеметов, сквозь хлопки и щелканье немецких ракет слева и впереди Кондратьев услышал, как из-за тридевяти земель, отдаленные, глухие, неровно пульсирующие раскаты. Началось?.. Там – началось?..

– Радист, связь! Связь с батальонами! – крикнул Гуляев. – Что у вас, рация или ночной горшок?

– «Ромашка», «Ромашка», «Ромашка»... Плохо слышу... Плохо слышу... – речитативом доносился голос радиста. – Плохо слышу... Плохо слышу...

Все замолчали в окопе. С визгом проносились пулеметные очереди над головой.

Радист, медленно разделяя слова, доложил:

– Товарищ полковник, Максимов у окраины Белохатки. Встретили сильное сопротивление. Потери – двенадцать человек и одно орудие. Танки. Есть опасность окружения. Готовятся к атаке. Ждите сигнала.

– Ясно! Связь с Бульбанюком! Быстро!

Опять молчание. Теперь все офицеры тесно сгрудились вокруг Гуляева. Телефонисты, проверяя линию, еле внятно переговаривались с тыловыми батареями. И лишь радист в глубине окопа торопливо и отчетливо выговаривал позывные:

– «Волга», «Волга», «Волга»... «Волга», «Волга», «Волга»... Товарищ полковник, с «Волгой» связи нет!

– Еще вызывайте! Вызывайте!

– «Волга», «Волга», «Волга»... «Волга», «Волга», «Волга»... «Волга», «Волга», «Волга»... – звучало в ушах Кондратьева, и после паузы: – Товарищ полковник, с «Волгой» связи нет!

– Как нет? Что голову морочите! Когда я слышу слева бой! Была связь! Вызывайте! Вызывайте!

– «Волга», «Волга», «Волга»... «Волга», «Волга»... Товарищ полковник, «Волга» молчит.

– Та-ак! Держать связь с Максимовым! Телефонист, штаб дивизии. Быстро!

Офицеры расступились перед полковником. Он опустился на дно окопа, выхватил трубку из рук телефониста, произнес коротко:

– Иверзева!

Молчание.

– Товарищ первый, докладывает второй. Максимов у Белохатки. Есть опасность окружения. С Бульбанюком связи нет! Полагаю, для связи надо послать людей. Поздно? Почему поздно, товарищ первый? Да, да! Идут бои. Слышно. Что вы говорите? Отзываете? Кого? Всех? Меня? Не слышу, товарищ первый!

– Товарищ полковник! – закричал радист. – «Ромашка» пошла. Максимов пошел! Огня! Огня! Огня просит. По Белохатке огня!

– Ракеты! – сказал кто-то из офицеров.

В ту же минуту Кондратьев заметил далеко слева над лесами круглые неясные пятна – они выплывали в небо и мгновенно гасли там. Четыре ракеты. Короткое затухающее мерцание – и вновь четыре мутных пятна возникли в небе. Это был сигнал Бульбанюка... А может, немецкие это были ракеты?

– Огня! Максимов просит огня! – повторял радист. – Передаю! Огня! Огня! Просит огня! Гуляев громко заговорил в трубку:

– Товарищ первый, Максимов пошел. Сигнал Бульбанюка. Просит огня! Что-о? Не слышу! Не слышу! Что-о? Не открывать огонь? Почему? Вы не поняли! Батальоны пошли, просят огня! Вижу сигнал! Я открываю огонь! – И, прикрыв ладонью трубку, подал команду: – Артиллеристы! Из артполка! Давай!

– Цель номер четыре! – запели голоса офицеров.

– Отставить! Что-о? – закричал Гуляев, порывисто наклоняясь к аппарату. – Не могу понять! Не открывать огонь? Не открывать огонь? Это ваш приказ? Что? Мне?.. В дивизию?..

И скомандовал вдруг охрипшим голосом:

– Огонь не открывать! Не открывать!

А за лесами одна за другой, как бы требуя и настаивая, рождались туманные вспышки ракет, и радист безостановочно повторял:

– Огня! Огня! Максимов просит огня!

Ничего не понимая, Кондратьев чувствовал, как у него холодеют кончики пальцев, стало трудно и тесно дышать. Почему, почему не открывать огонь?

Глава девятая

Где-то слева в тумане сверкнула искра, как будто там ударили по кресалу, и посреди парка с опадающим грохотом разорвался снаряд.

Из низины нащупывающими очередями забили пулеметы.

– Идите ко второму орудью, – приказал Ермаков Прошину. – Вдвоем нам делать здесь нечего. И запомните: без приказа не стрелять!

– Окружают, да? – подавленно спросил Прошин. – Неужели кольцо?

Он подчеркнуто старательно зашагал через кусты, странно пружиня ноги, не пригибаясь, точно смелостью этой хотел искупить недавнюю свою растерянность.

Ермаков раздраженно крикнул:

– Бегом!

Его раздражала наивная неопытность лейтенанта, его неуклюжая молодость, неумение понимать все с первого слова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.